

ФРЭНСИ РАБИНЕК ЭПШТЕЙН

# ВОЙНА ФРЭНСИ

ОСНОВАНО  
НА РЕАЛЬНЫХ  
СОБЫТИЯХ



ПОД РЕДАКЦИЕЙ ХЕЛЕН ЭПШТЕЙН

Свидетели Холокоста

Фрэнси Эпштейн

**Война Фрэнси**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.111-94(73)  
ББК 84(7Сое)-44

**Эпштейн Ф.**

Война Фрэнси / Ф. Эпштейн — «Издательство АСТ»,  
2020 — (Свидетели Холокоста)

ISBN 978-5-17-120003-9

Летом 1942 года двадцатидвухлетняя Фрэнси Рабинек прибыла в Терезин, концентрационный лагерь и гетто в сорока милях к северу от своего дома в Праге. Это было началом ее трехлетнего путешествия из Терезина в чешский семейный лагерь в Освенциме-Биркенау, в лагеря рабовладельческого труда в Гамбурге и Берген-Бельзене. После освобождения англичанами в апреле 1945 года она наконец вернулась в Прагу. Война Фрэнси – это обескураживающая история невероятно сильной молодой женщины, которая пережила ужасы Холокоста и выжила.

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-120003-9

© Эпштейн Ф., 2020

© Издательство АСТ, 2020

## Содержание

Глава 1	6
Глава 2	7
Глава 3	10
Глава 4	12
Глава 5	14
Глава 6	16
Глава 7	18
Глава 8	20
Глава 9	21
Глава 10	24
Глава 11	27
Глава 12	30
Глава 13	33
Глава 14	35
Глава 15	38
Глава 16	41
Глава 17	43
Глава 18	45
Глава 19	49
Глава 20	52
Глава 21	56
Глава 22	59
Глава 23	63
Глава 24	65
Глава 25	68
Глава 26	70
Глава 27	74
Глава 28	76
Глава 29	79
Глава 30	81
Глава 31	83
Глава 32	87
Послесловие	93
От редактора	101
О лагерях	103
Хронология событий	104
Иллюстрации	106

# Фрэнси Эпштейн Война Фрэнси

Franci Rabinek Epstein  
A Story of Survival

© 2020 by Franci Rabinek Epstein

© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2020

\* \* \*

## Глава 1

Это был жаркий день в начале сентября 1942-го. Выставочный комплекс «Выставиште»<sup>1</sup> был полон людей. Многие лежали или сидели на разбросанной по полу соломе; кто-то бесцельно бродил кругом в тупом оцепенении. Ушли в прошлое блестящие выставки достижений чехословацкой промышленности, создававшие атмосферу веселого праздника.

В детстве я часто приходила в «Выставиште» – у электротехнической фирмы моего отца «Рабинек и Коралек» был здесь отдельный стенд. Походы сюда доставляли мне всегда огромную радость. Домой я приносила бесплатные образцы продукции, воздушные шарик и стопки глянцевого каталогов. Но сегодня я не вернусь домой, потому что «Выставиште» превратили в сборный пункт для депортации нежелательных элементов, то есть, согласно Нюрнбергскому расовому закону, для евреев.

Удивляться нечему. Ловушка закрывалась уже три года, но систематические унижения и «промывание мозгов» шли медленно и не всегда успешно. Все это время наше человеческое достоинство оставалось нетронутым. В те дни ситуация, в которой мы оказались, была для всех новой. Но то, что с нами внезапно стали обращаться как с домашним скотом, стало для всех шоком.

Мне было 22 года, и я лежала в оцепенении, опустив голову на мамины колени. Совсем недавно мне удалили миндалины. Я не ела уже несколько дней, и было тяжело дышать наполненным соломенной пылью воздухом. Мама все время гладила меня по голове и уговаривала выпить хоть немного воды. Отец ходил от одного знакомого к другому, пытаясь выяснить, что же с нами будет. Эсэсовцы, то и дело врывавшиеся в помещение, выкрикивали приказы и забирали по несколько евреев-мужчин чистить уборные. Они нарочно выбирали самых солидных – стариков в очках. Одним из таких был мой отец.

Когда в больнице мне сообщили, что за мной и родителями приехала машина, фельдшер, друг нашей семьи, сказал:

– У тебя была операция. Мы можем сказать им об этом, и ты никуда не поедешь.

Я немного подумала и ответила:

– Нет, я не отпущу их одних. Они уже в возрасте, и, кроме меня, у них никого нет.

Маме тогда было шестьдесят, а отцу – шестьдесят пять. Я не могла представить, как эти два человека уйдут куда-то без меня. Хотя в этом была и доля эгоизма. Мужа рядом не было. Без родителей я бы осталась совсем одна. Кроме того, к сентябрю 1942-го я была сыта по горло ограничениями, которые действовали в Праге, и решила: там в любом случае будет лучше, чем здесь. К сожалению, я всегда была такой.

---

<sup>1</sup> Исторический выставочный комплекс в Праге, построенный в 1891 году. – *Примеч. ред.*

## Глава 2

Гитлер вторгся в Чехословакию 15 марта 1939 года, через две с лишним недели после того, как мне исполнилось 19 лет. Я совершенно не интересовалась политикой, и знала только, что все мои бабушки и дедушки были евреями. За год до того мама передала мне в управление свое ателье по пошиву одежды от-кутюр. Я была беззаботной, немного избалованной девушкой и интересовалась только танцами, ателье, флиртом и лыжами – именно в таком порядке.

Мой отец Эмиль Рабинек родился в семье венских евреев в 1878 году. Он был младшим сыном чиновника и твердо верил в ассимиляцию. В двадцать лет он принял католичество, чтобы обойти *numerus clausus*<sup>2</sup> – квоту для евреев в университете Берлина. Во время Первой мировой войны он без особого энтузиазма сражался в рядах австрийской армии, а в 1918 году горячо приветствовал образование Чехословакии. Он прожил в Праге много лет. Несмотря на то, что эмоционально и культурно отец продолжал оставаться австрийцем, он считал образование Чехословакии неким экспериментом в области социальной демократии, новой Швейцарией в центре Европы, где все меньшинства обладали равными правами, и решил стать гражданином Чехословакии.

Последовавшие за тем двадцать лет жизни оправдали его выбор. Как член немецкоговорящего общества Праги, отец покровительствовал немецким клубам, театрам и концертным залам. Он любил повторять: «Я немецкий гражданин Чехословакии». Отец так и не выучил чешский. Почти вся наша обширная библиотека состояла из немецких книг и переводов на немецкий французских, английских и русских произведений. Он привил мне любовь ко всему немецкому, или, по крайней мере, привычку воспринимать все через немецкий язык. В доме не было ни одной чешской книги, пока я не подросла и не начала покупать их сама.

Хотя отца много раз предупреждали об опасности, которую несет нацизм, он отмахивался от новостей, приходивших из Германии, как от пропаганды. Отец верил в немецкую порядочность и справедливость, честь и цивилизацию. Он ни секунды не сомневался в том, что Чехословакия – сильная страна, а ее суверенитет гарантируют французские и английские союзники. Даже оккупация Австрии в марте 1938 года не пошатнула его уверенности, и он клеймил сбежавших из Вены двоюродных братьев трусами. Гизела Рабинек Крамер, его старшая сестра, и некоторые из ее детей остались в Вене. Их поступок лишней раз доказывал папе, что нет никаких причин для паники и бегства.

Финансовые вопросы тоже сыграли свою роль. Когда я родилась, в феврале 1920-го, отец был богатым человеком – совладельцем верфи и электротехнического предприятия оптовой торговли. После обвала на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1929 году его состояние сократилось. И все же мы по-прежнему жили вполне обеспеченно, в прекрасной квартире, наполненной книгами и картинами. Но к тому времени, когда немцы оккупировали Чехословакию, главным источником дохода семьи стало наше с мамой ателье, которое раньше отец считал лишь капризом эмансипированной деловой женщины. Теперь же папа работал у нас бухгалтером. Предприятие процветало, но мы вложили в него большую часть нашего капитала, и было бы непросто перевести его в иностранную валюту на черном рынке. Папа часто повторял: «В нашем возрасте без капитала не эмигрируют».

Но, несмотря на все смелые разговоры, отец тайне от меня писал письма двоюродному брату в Англию, чтобы я могла уехать из страны. Его старания не увенчались успехом, и только спустя четверть века я узнала от исполненного чувством вины дяди, как отчаянно отец умолял его сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти меня. Должно быть, на этом настаивала мама. Она

---

<sup>2</sup> «Ограниченное число» (лат.) – Здесь и далее примеч. переводчика.

чувствовала, что чешский народ в целом и нашу семью в частности постигла ужасная катастрофа.

Хотя мама, Йозефа Пепи Саксел, тоже родилась в Вене, она владела чешским в совершенстве и была беззаветно предана чешскому народу. Ее родители умерли, когда ей было девять, и в 1891 году сестра отца, тетя Роза, забрала маму вместе с двумя старшими братьями к себе в чешский город Колин.

Мама вспоминала, что Розалия Саксел Лустфильд была очень бедна и крайне набожна. Она часто бывала в местной синагоге и больше времени тратила на обсуждение Талмуда со странствующим хасидом, нежели на управление своим магазином подержанной одежды.

Братья вскоре убежали кто куда: Эмиль Саксел поступил на службу во флот Австро-Венгерской империи и обосновался в Братиславе, а Рудольф Саксел подался в уличные торговцы и в конце концов стал богатым пражским оптовиком. Пепи, которой тогда было только девять, осталась в Колине, учила чешский, ходила в среднюю школу и была обречена на жизнь в безмерной любви, истовой религиозности и жестокости тети Розы. За несколько лет это сочетание разрушило все, что связывало маму с иудаизмом, и превратило ее в агностика. В этом также сыграло роль дело Хилснера. На Пасху 1899 года, когда Пепи было 17, чешскую портниху-католичку нашли мертвой в луже крови. Главным подозреваемым стал бродяга-еврей Леопольд Хилснер. Его обвинили в ритуальном убийстве. Мама рассказывала, что по стране тогда прокатилась волна погромов, не обойдя стороной и Колин.

Еще одной причиной того, что мама отошла от иудаизма, стала ее первая любовь: она влюбилась в юношу из богатой еврейской семьи Колина, но его родители поспешили отослать его за границу, чтобы он не женился на бедной сироте.

Тетя Роза научила племянницу оценивать стоимость поношенной одежды, а еще она научила ее шить. Когда же Пепи исполнилось двадцать, она последовала примеру братьев и покинула Колин. Мама перебралась в Прагу, поселилась у брата, Рудольфа, и устроилась на работу в «Мориц Шиллер», один из самых известных магазинов одежды в городе. В течение двух лет она стала его *directrice*<sup>3</sup> и покупателем.

Мама не хотела выходить замуж, но, чтобы развеять опасения тети Розы касательно ее целомудрия и жизни в большом городе, она связала себя узами брака с бывшим колинским одноклассником и стала госпожой Оскар Вайгерт.

В начале 20-го века Пепи каждый год ездила в Париж и стала настоящей искушенной деловой женщиной. А вот брак обернулся катастрофой, потому что у Оскара был сифилис – неизлечимая в те годы болезнь. В 1908-ом у мамы случился нервный срыв. Тогда ее босс посоветовался с тетей Розой, двумя состоятельными братьями Пепи, и им удалось аннулировать ее брак – на том основании, что он не был окончательно оформлен. Йозефа Вайгерт переехала в пансионат, где и познакомилась с инженером-электриком Эмилем Рабинек. После десяти лет отношений, смерти тети Розы и его матери, в декабре 1918-го года они поженились.

Эмиль Рабинец не возражал против того, чтобы Пепи делала карьеру, но он не хотел, чтобы она работала у кого-то в подчинении. Поэтому Пепи открыла свое ателье «Салон Вайгерт», примыкавшее к их квартире в доме 53 по улице Спалена. Мама хорошо относилась как к чешским, так и к немецким клиентам, возможно, чуть больше импонируя первым. Многие из них обожали ее и были не только клиентами, но и друзьями. У мамы сложились прекрасные отношения с чешскими работницами и работниками.

В феврале 1920 года родилась я, и, сколько себя помню, мама всегда уравновешивала папину любовь ко всему немецкому.

Сама я всегда была предана Республике Чехословакии. В конце концов, я там родилась и была всего лишь на два года моложе этой страны. Я считала себя гражданкой Чехословакии.

---

<sup>3</sup> «Управляющая» (фр.)

Родители пытались воспитать меня гражданином мира. Дома звучал немецкий, за его стенами – чешский, я же училась во французской школе в Праге, была католичкой, посещала мессы и исповедовалась. Я знала, что некоторые мои родственники были евреями, потому что раз в год вместе с Mutti<sup>4</sup> навещала могилу тети Розы на Еврейском кладбище. Но религия меня почти не интересовала. К тринадцати годам я начала сомневаться в истинности католической догматики и вскоре попросила папу изменить в моих документах графу о вероисповедании на «неверующая».

Вот такой была моя еврейская семья, когда 15 марта 1939 года немцы оккупировали Прагу.

---

<sup>4</sup> Магушка (нем.)

## Глава 3

В апреле на пороге нашего дома появился высокий, по-прусски короткостриженный светловолосый мужчина, и вежливо представился комиссаром, направленным *Reichsprotector*<sup>5</sup> для того, чтобы «ариизировать» наше еврейское предприятие. Просмотрев записи и понаблюдав за работой мастерской, он пришел к выводу, что ателье зиждется на вкусе и старании его владельцев, а также на их отношениях с клиентами. Потому он решил, что мастерская не станет для него «золотой жилой». Намекнув, что его жене нужны новые платья, комиссар по секрету посоветовал нам «на бумаге» передать предприятие одному из наших сотрудников, а самим остаться в качестве наемных работников.

Когда комиссар ушел, мы с матушкой вышли к сотрудникам, чтобы обсудить сложившееся положение. Нашим швеям и портному не было еще и тридцати, и мы так верили в их преданность, что нам и в голову не пришло беспокоиться о том, что это предложение может дойти до слуха властей.

Казалось, они не были удивлены. Подобные случаи уже стали в Праге обычным делом, но мы не думали, что с нами это случится так скоро. Разговор о том, кто станет владельцем ателье «на бумаге», перерос в оживленную дискуссию. Мы сказали, что объявим решение на следующий день. Родители боялись передавать источник средств к существованию в руки работника, каким бы преданным он ни был, в то время как я считала это отличным и простым решением проблемы. На самом деле выбора у нас не было. Мы могли просто закрыть ателье, но тогда нам бы пришлось жить на отложенные сбережения, а десятки человек лишились бы работы.

На другой день мы предложили Мари, которая работала у нас дольше других, стать частью сделки. Надежный адвокат и член чешского подполья, который организовал не одну подобную передачу имущества, подготовил секретный договор. Мы с Мари должны были получать равную зарплату и делить прибыль пополам. Дабы обставить все более правдоподобно, адвокат дал Мари займы, чтобы она могла выкупить у нас бизнес. Мы вернули ему ссуду. Контракт был захоронен в саду его загородного дома. Художник изменил имена на вывеске ателье. После этого жизнь более-менее вошла в привычное русло, за исключением того, что персонал отныне обращался к Мари не просто по имени, а не иначе как «Мисс Мари». Наши клиенты, в том числе и немцы, избегали высказываться по этому поводу. Некоторые осторожно интересовались, получила ли моя мама свою законную долю.

Затем началось систематическое унижение чехов в целом и евреев в частности. Сначала появилось определение того, кого же считать евреем, – любого, у кого хотя бы по одной линии бабушка и дедушка были евреями. Я узнала, что все мои бабушки и дедушки были евреями.

Потом евреям запретили появляться в общественных местах, а на улицах, игровых площадках, в кофейнях, бассейнах и театрах появились подтверждающие этот запрет знаки: «ЕВРЕЕМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

И только река все еще была нам доступна.

Профессоров-евреев выгнали из университетов. Докторам-евреям было разрешено лечить только евреев, а их врачебные кабинеты конфисковывались один за другим. В конце концов все предприятия, принадлежащие евреям, подверглись «ариизации», а Национальная коллегия адвокатов исключила из своих рядов всех евреев. Но некоторые чешские организации и предприятия не спешили следовать их примеру. Чешский филармонический оркестр сопротивлялся дольше всех, почти год. Национальное спортивное общество «Сокол»<sup>6</sup> выполнило

---

<sup>5</sup> Рейхинспектор (нем.)

<sup>6</sup> Молодежное спортивное движение, основанное в 1862 году. Помимо спортивного воспитания активно прививала своим членам идеи чешского национализма и панславизма. Во время немецкой оккупации было запрещено.

требования, но многие региональные филиалы организации в частном порядке дали понять евреям, что им там, как и прежде, рады.

Нам было приказано носить желтую Звезду Давида, в центре которой было написано «ЕВРЕЙ». Она должна была быть нашита на верхней одежде с левой стороны – там, где сердце. Любой, кто не подчинился этому приказу, подлежал немедленному аресту. Мы с отцом сочли это страшным оскорблением, мама приняла это философски, возможно, как наказание за то, что долгое время игнорировала свое происхождение.

Затем последовала конфискация всех ювелирных изделий, которые владелец должен был лично принести в указанные места. Потом радиоприемники. После этого евреям было предписано ездить только в последнем вагоне трамвая, а сидеть разрешалось исключительно в том случае, если всем арийцам хватило места.

В следующем году только работающие евреи и те, кто имел специальный пропуск, могли пользоваться трамваем. Те же, у кого пропуска не было, должны были ходить пешком.

Конечно, среди чехов находились такие, кто сочувствовал немцам и был очень доволен притеснением евреев. Но большинство из тех, с кем я общалась, были возмущены новыми указами. Некоторые демонстративно уступали в трамвае место еврейским женщинам. Порой эти жесты, исполненные благих намерений, приводили к неловким ситуациям. Прага кишела немцами в штатском. В трамваях и автобусах между чехами то и дело вспыхивали ссоры, перераставшие в драки, но, если свидетелем этого становился немец, ситуация могла кончиться очень неприятно.

Тем временем угнетенные как могли пытались дать отпор. Незастрахованные украшения прятались у арийских друзей. Большие радиоприемники переносились в дома к друзьям и соседям не еврейского происхождения, а вместо них сдавали аппараты постарше. На улице желтые звезды часто прикрывались специально захваченной книгой или сумкой, а порой и не носились вовсе.

Долгое время я и сама так поступала, и в качестве дополнительной предосторожности я сделала ринопластику. Отец и некоторые друзья-евреи часто дразнили меня из-за моего так называемого еврейского носа. Я страшно любила смотреть кино, а запрет на посещение кинотеатров стал для меня одним из самых трудных. И я решила, что с другим носом и без звезды смогу пройти в зал, ничем не рискуя. Я сделала операцию, и после четырех недель головных болей стала похожа на маму с ее прямым, слегка вздернутым носом. Но в кино я так и не сходила: стоило мне только заикнуться об этом, у мамы начиналась истерика.

## Глава 4

В июне 1939 года гестапо арестовало нас с родителями из-за драгоценностей мамы моего молодого человека. Его звали Пепик Джо Солар. Его мать спрятала часть украшений у майора З., командира армии Чехословакии, под чьим началом служил Джо. Они искали его, поэтому арестовали нас.

Я впервые столкнулась с гестапо. Сначала они арестовали родителей, даже не предъявив им обвинений. А когда через пару часов я вернулась домой из командировки, то схватили и меня. Двенадцать часов нас допрашивали порознь, и родители совершенно не понимали, в чем причина ареста. Если сравнивать с тем, что мне пришлось пережить в последующие военные годы, в течение тех долгих двенадцати часов со мной не обращались грубо. В перерыве между угрозами застрелить меня и родителей, если я не заговорю, мне даже предлагали шоколад и сигареты. Той же ночью мы втроем оказались в машине с двумя гестаповцами. Нас привезли в тюрьму Панкрац и поставили лицом к стенке вместе с пятьюдесятью другими незнакомыми людьми.

Родители стояли по обе стороны от меня. Охранники у нас за спинами ходили из стороны в сторону. Через какое-то время отец повернул голову и вопрошающе взглянул на меня. Мгновенный удар охранника сбил его с ног, очки упали на землю. Я инстинктивно наклонилась, чтобы помочь ему, но, услышав резкий приказ, поняла, что лучше не двигаться. К полуночи нас всех развели по разным камерам.

Меня поместили вместе с двумя женщинами средних лет, и я тут же сказала им, что произошла какая-то ошибка и утром я поеду домой. Одна из них сочла мое заявление забавным, а вторая, слишком уставшая, чтобы спорить, молча махнула рукой. Первую звали Марианна Гольц. Это была привлекательная, рыжеволосая, уверенная в себе, как актриса, которой она и была на самом деле, женщина. Вторую звали Людмила, жена высокопоставленного офицера армии Чехословакии и по совместительству функционера «Сокола», который сбежал из страны, чтобы присоединиться к свободным чешским солдатам за границей. Людмила провела в тюрьме уже три месяца и регулярно подвергалась допросам, во время которых ее расспрашивали о той сети, которая позволяла таким же чехам, как ее муж, ускользать за границу под самым носом у немцев.

Мои соседки по камере очень отличались друг от друга. Одна была яркой и остроумной, а другая – величественной и тихой. Нравственные установки одной казались по меньшей мере сомнительными, а вторая четверть века прожила в полном нерушимой любви и преданности браке с одним и тем же мужчиной. Но у этих вынужденных соседок по камере было больше общего, чем мне показалось в первые минуты. С самого начала они обе принялись защищать меня и взяли на себя обязанность просветить касательно правил содержания под стражей у немцев.

Первым правилом в списке значилось не рассказывать следователям того, что они еще не знают. «Никогда и ни в чем не признавайся, особенно в том, что было на самом деле», – сказали они мне. – «Никогда не раскрывай информацию, даже если тебе обещают награду».

В 19 лет я смотрела на Марианну и видела авантюристку, исполненную чуткостью и состраданием к окружающим даму полусвета, отважную и смелую. Отвага Людмилы проявлялась скорее в тихом и покорном сопротивлении тюремщикам. Я уверена, что за все время заключения ни одна из них не произнесла на допросах чье-либо имя.

Я узнала, что Марианна уже давно была антинацисткой. В Вене она, будучи христианкой, вышла замуж за журналиста еврейского происхождения. Он бежал из Австрии в марте 1938 года. Марианна осталась в Вене, получила быстрый развод по расовым причинам и вышла на работу, чтобы помогать своим друзьям. Закрутив в Вене роман с офицером-эсэсовцем, она

вывезла деньги и драгоценности друзей в Швейцарию. Этот роман позволил ей замести следы и завязать ряд полезных знакомств в высших эшелонах СС Австрии и за ее пределами. Все было прекрасно, пока офицер не начал исполнять более важные обязанности. Тогда Марианна предусмотрительно решила перенести свою деятельность в Прагу. Здесь она вступила в ряды чешского Сопротивления. Но, к несчастью, один арест потянул за собой другие, кто-то проболтался, и Марианна оказалась в одной камере с Людмилой. Несмотря на связи в СС у нее не было никакой возможности сообщить кому-либо, что ее держат в Панкраце.

Очарованная Марианной и ее историями, я внимательно слушала все, что она рассказывала о том, как обращаются с евреями в Австрии и о методах нацистов. Поскольку дни тянулись один за другим, а на допрос нас никто не вызывал, времени у нас было много, а делать было нечего. Марианна объяснила мне, как происходит конфискация, унижение и, наконец, депортация, которая тогда уже началась в Австрии.

Марианна толком не знала, куда отправляют всех этих людей. Она слышала лишь о том, что они могут взять с собой не больше пятидесяти килограммов, а все остальное вынуждены оставить. Марианна пыталась убедить меня бежать, если мне удастся выйти из тюрьмы. Ей удалось внушить мне, что оставаться в квартире, примыкающей к ателье, глупо. И не только из-за риска для Мари, но и потому, что квартира – большая и красивая, а значит, рано или поздно ее все равно конфискуют. В таком случае нас всех заставят съехать в одну комнату где-нибудь в еврейских кварталах.

Вся эта полезная информация была сдобрена совершенно невероятными историями из ее жизни, некоторые из них очень смущали Людмилу, считавшую их неподходящими для ушей девятнадцатилетней девушки. Но обе женщины сходились в том, что нацисты – чудовища, с которыми нужно бороться на всех уровнях. Я начала верить каждому их слову. Каждый день во время двадцатиминутной прогулки по тюремному двору я искала глазами маму, но ее нигде не было.

Через две недели меня вызвали на допрос, а спустя полчаса отпустили. Пройдут годы, прежде чем я узнаю, что через несколько недель отпустили и Марианну: один из ее эсэсовских друзей вернулся из поездки и не застал ее дома. Однако в 1943-м удача отвернулась от нее: Марианну арестовали повторно. В том же году в тюрьме Панкрац ей отрубили голову.

Что стало с Людмилой, мне неизвестно.

## Глава 5

Я вернулась домой – в квартире никого не было. Первым делом я подошла к отцовскому письменному столу. Открыла верхний ящик и, к своему ужасу, нашла там список маминых украшений, на котором был написан адрес майора З. Еще я нашла подозрительный пузырек без этикетки, в котором лежали маленькие таблетки. Тут раздался звонок в дверь, и я спрятала находку в кармане. Это был Джо, мой молодой человек. Он рассказал, что произошло, пока я была в тюрьме.

Чтобы узнать, почему нас арестовали, Джо связался с адвокатом-чехом, у которого были знакомые в гестапо. Тот выяснил, что немцы подозревают брата Джо, Пола, в операциях с иностранной валютой и поэтому два агента обыскали его квартиру. Они нашли листок бумаги с именем майора З., адресом, перечнем украшений и арестовали семью брата. Потом они допросили мать Пола и попытались узнать, где находится Джо. Она ответила, что, вероятно, Джо пошел в гости к своей девушке, то есть ко мне. Немцы арестовали нас, вызвали на беседу майора З. и после настоятельного совета умерить свою любовь к евреям отпустили его. Наше освобождение из Панкраца стоило 20 000 чешских крон. Выкуп доставили в чистом конверте, заложенном между страниц «Майн Кампф». Разумеется, родителей отпустили через несколько часов после меня.

Все мы по-разному отреагировали на первое заключение. Папа был зол на Джо и разразился тирадой о том, чего стоит вести списки, в которых упоминаются имена совершенно не причастных к делу людей. Он успокоился только тогда, когда я показала ему бумагу, найденную в его столе. Джо пришел к выводу, что при случае немцев можно подкупить, а потому его новообетенные связи в гестапо могут пригодиться в будущем. Mutti радовалась, что я жива и здорова, и была готова простить всех и вся.

Я рассказала о том, что слышала от соседки по камере, Марианны. Родители и Джо выслушали меня, но посчитали наивной: Марианна могла быть агентом-provокатором, которой было поручено выведать у нас информацию. Тем не менее я настаивала на том, что в ее совете отказаться от большой квартиры в центре, перенести ателье в несвязанное с ней помещение, а самим переехать в квартиру поменьше, которая вряд ли подвергнется немецкой реквизиции, есть смысл. Я хотела, чтобы мы переехали в пригород, где вряд ли будут проводиться рейды и происходить другие сюрпризы. Прошли месяцы, прежде чем мне удалось убедить родителей, но я смогла настоять на своем и в конце концов мы переехали.

1 сентября 1939 года, в день, когда разразилась Вторая мировая война, мой отец вновь погрузился в мир фантазий, ни секунды не сомневаясь в победе союзников. Каждый день он ходил по десять километров к одному из наших сотрудников, у которого теперь стояло наше радио, чтобы послушать передачи Би-би-си. По всему дому он развесил карты, на которых флажками отмечал немецкие позиции со слов самих немцев и немецкие позиции со слов Би-би-си. Мрачная ситуация, но с началом войны оптимизм отца взлетел до небес.

На Рождество Джо подарил мне щенка. Томми стал в семье настоящим центром притяжения и верным спутником отца в прогулках за новостями.

В начале 1940 года, когда война была уже в самом разгаре, Джо активно помогал Сопротивлению вывозить из страны бывших солдат армии Чехословакии, чтобы они могли присоединиться к антигитлеровским военным силам. Незадолго до оккупации Джо уволили из армии. Он был беспечным солдатом во время службы и никогда не относился к ней серьезно. Но после вторжения немцев его отношение в корне изменилось. Он чувствовал вину из-за того, что отправляет воевать других, и к концу апреля решил вступить в растущие силы добровольческих отрядов.

Маршрут выхода из страны был проверен не один раз и считался вполне безопасным. Патриотично настроенный лесник водил через границу, в Венгрию, группы от пяти до десяти мужчин. Оттуда они добирались до Югославии, а потом отправлялись в Палестину или Англию, где было сформировано «Чехословацкое правительство в изгнании». У нас дома состоялось долгое и слезное прощание, даже отец начал шмыгать носом, и Джо ушел, не забыв договориться о том, чтобы на другой день нам с Mutti доставили по корзинке цветов.

Три дня от Джо не было вестей, и мы, решив, что он удачно перешел границу, радовались и гордились им. Неделю спустя, когда я вернулась домой с работы, Mutti сказала, что в гостиной меня ждет посетитель. Это был Джо, с недельной щетиной на лице, от него пахло потом и навозом – он был воплощением крайней нищеты. Что-то пошло не так, и их группу перехватил немецкий патруль. Некоторых поймали, кого-то застрелили, а Джо и его приятелю удалось вырваться и пешком добраться до Праги; иногда их подвозили на машинах сочувствующие фермеры, они же давали им еду. По полям и дорогам они прошли около 650 километров. Узнать, ищут ли их немцы и можно ли оставаться в квартире его матери или даже у меня, не было никакой возможности. Теперь он мог быть опасен даже для Сопротивления.

Следующие несколько недель он провел в горных домиках своих друзей, постоянно переезжая с места на место. Прежде чем он ушел, мы решили пожениться. Мне было ужасно жаль Джо, и теперь он казался мне героем. Я всегда любила его за потрясающее чувство юмора. Что бы ни случилось, Джо всегда мог меня рассмешить. Он был моим самым близким другом. К тому же теперь в восемь вечера начинался комендантский час для евреев, а родители и щенок были не самой подходящей компанией для двадцатилетней девушки.

## Глава 6

Когда я рассказала отцу о нашем решении, он пришел в ярость и начал обвинять Джо в том, что он крадет у него дочь. Мамуле, напротив, эта идея пришлась по душе, она обрадовалась, что в столь тяжелые времена рядом со мной будет кто-то молодой. После того как Джо вышел из подполья и вернулся в Прагу, мы наконец-то выехали из нашей большой квартиры в центре города. Хозяин квартиры был счастлив: теперь он спокойно мог сдать ее чехам.

Мы нашли крохотную квартирку на окраине города, рядом с киностудией «Баррандов»: две комнаты, кухня и никакого центрального отопления. Вдали от всего, но зато можно было гулять по полям и лесам, что раскинулись неподалеку. Для молодоженов места было бы вполне достаточно, но мы переехали туда вместе с родителями, чтобы не занимать много места. Часть мебели распродали, а тем, что осталось, заставили квартиру. Ателье перенесли в новое помещение в центре Праги.

20 августа 1940 года мы поженились. Заключать браки между евреями в прекрасной Староместской ратуше отныне было запрещено – только в небольшом окружном дворце бракосочетания на окраине города. Пользоваться такси нам не разрешалось, а ехать в трамвае с огромным букетом белых роз, который мне преподнес Джо, я отказалась. Но проблема была решена: мы попросили одного из наших молодых подмастерьев провезти для меня букет в огромной сумке.

С оглядкой на время я решила выйти замуж в простом черном платье, но выбрала к нему несуразную светло-голубую шляпку, которую принесла с собой в бумажном пакете и достала только для того, чтобы сфотографироваться в зале ожидания. Мои сотрудники и друзья толпились в маленьком зале бракосочетания, а потом мы все пообедали в ресторане у француза Пьера-Луи, где часто бывали, когда Джо ухаживал за мной, и который обошел антиеврейские законы, просто закрывшись «по болезни».

Четырехдневный медовый месяц мы провели в Злине, некрасивом промышленном городе, где Томаш Батя<sup>7</sup> производил свою обувь. Мы отправились туда только потому, что там находилась единственная гостиница в стране, куда еще пускали евреев. Но даже в ней нам пришлось обедать у себя в номере, потому что появляться в столовой евреям было запрещено. Через четыре дня наш медовый месяц и уединение закончились. Мы вернулись в нашу крохотную пражскую квартирку, где меня все еще считали ребенком, а с моим мужем обращались как с приемным сыном.

К тому моменту я была единственным работающим человеком в семье. За прошедший год наша бывшая подчиненная Мари слегка изменилась. Обладание процветающим делом дало ей такой социальный статус, о котором она прежде могла только мечтать. Нескончаемая антисемитская пропаганда оккупантов разъярила этой простой девушке, какому риску она себя подвергает, продолжая держать на службе меня и маму, и, возможно, даже оправдала в ее глазах смену ролей. На тот момент немцы выигрывали войну, и не было никаких предпосылок к тому, что статус-кво когда-либо может восстановиться.

Когда мы переехали в Баррандов, Мари решила, что для сохранения старых клиентов будет достаточно и одной Рабинек. Так мои родители лишились своих мест. У мужа не было постоянной работы с начала оккупации. Наша семья оказалась в рискованной ситуации. Мы покупали продукты и другие первостепенные товары на черном рынке, и сбережения исчезали с пугающей скоростью. В Чехословакии, которая была импортером сельскохозяйственной продукции и мяса, ввели карточки, потому что оккупанты отправляли все в Рейх. На продовольственных карточках евреев стоял штамп в виде большой буквы «Е», а время, в которое

---

<sup>7</sup> До Второй мировой войны обувная фирма Wat'a была одной из крупнейших в Европе. Существует и сегодня.

мы могли делать покупки, было ограничено двумя часами в конце рабочего дня перед самым закрытием магазинов, когда там и так почти ничего не оставалось.

С каждым днем чешские деньги дешевели все больше и больше. Как и цены на ювелирные украшения или предметы искусства, потому что предложение превышало спрос. Стоимость иностранной валюты резко выросла. По утрам, пока я крутила педали велосипеда и ехала на работу, большая сумка прикрывала желтую звезду, а потом я каждый раз всматривалась в лицо Мари, пытаюсь понять ее настроение. Она уволит меня сегодня? Завтра? Через неделю? Когда?

Через шесть недель после нашей с Джо свадьбы я поняла, что беременна. На самом деле мама сказала мне об этом, заметив, что выражение лица у меня стало немного другим. Прием у врача подтвердил правдивость ее слов. Отец все повторял, что рожать детей в такое время безответственно и настаивал, чтобы я немедленно сделала аборт. На этот раз я была с ним полностью согласна. Я не хотела ребенка. Мне было двадцать лет, на мне лежала ответственность за четырех человек, включая меня, и я хотела развлекаться, насколько это вообще было возможно в наших стесненных жизненных обстоятельствах. Кроме того, муж и сам был еще ребенком, и мысль о том, что он станет отцом, сместила меня.

Узнав новость, Джо очень обрадовался и не желал слушать аргументы в пользу аборта. Mutti стала очень сентиментальной: ей хотелось стать бабушкой, но и она боялась беспокойного времени. Аборты в Чехословакии всегда были под запретом, но при желании его можно было обойти. Проблема заключалась в том, что у врачей-евреев больше не было кабинетов, а врачам-христианинам запрещалось лечить таких, как мы.

Через своего армейского приятеля Джо нашел гинеколога-чеха, но сама операция должна была быть проведена в субботу в его кабинете, и он не мог вколоть мне достаточно анестезии. Я должна была зайти и выйти как можно быстрее. Ему помогала жена.

В ночь перед абортom мама Джо умерла от сердечного приступа. Несмотря на это, он пошел со мной к врачу и до последнего уговаривал меня отказаться от операции. Когда все закончилось, меня посадили в машину друга и отвезли домой, где Mutti непрестанно суетилась и круглосуточно измеряла мне температуру. Джо был потрясен тем, что произошло, а я так глубоко погрузилась в себя, что не поняла, какую травму это ему нанесло. Мы со свекровью никогда особенно не любили друг друга. Она не одобряла выбор Джо, потому что я больше интересовалась ателье, а не рубашками и стряпней для него. И я не могла простить той глупости, из-за которой мои родители попали в руки гестапо. Ради приличия через два дня я пришла на ее похороны. Я выглядела настолько больной и измученной, что все были удивлены, как близко к сердцу я приняла ее кончину.

## Глава 7

Жизнь немного наладилась, и год – вдали от тревожных слухов из столицы – прошел спокойно.

Родители и Томми подолгу гуляли до городской черты – евреям больше не разрешалось выходить за нее. Отец и Джо играли в шахматы и постоянно обновляли флажки на военной карте. К реке нам пока разрешалось ходить, и тем летом мы часто купались. Еще оставалось одно кафе для евреев, где в субботу днем играл небольшой эстрадный оркестр и можно было потанцевать.

Худо-бедно мы привыкли к ограничениям. Новый, 1941 год мы встретили с нашими соседями-евреями, двумя молодыми парами, все еще живущими в своих домах, и пили за скорое окончание войны.

Ночные походы в гости были редкими и довольно опасными, потому что наискосок от нашего дома жил немец-коллаборационист из Судетской области по фамилии Лахман, который почти не отрываясь следил за нами и записывал все, что делают четыре еврейские семьи, живущие на нашей улице.

Из-за комендантского часа нам пришлось ждать наступления темноты, а потом, чтобы не привлечь его внимания, идти по улице в тапочках. Этот самопровозглашенный караульный наблюдал за нами денно и нощно. Он следил за тем, покупаем ли мы продукты в местной бакалейной лавке строго в отведенные для евреев часы. Особенно его раздражало то, что у нас есть щенок, и он постоянно намекал всем соседям, что следует запретить евреям держать собак для собственного удовольствия.

В октябре 1941 года до нас дошли слухи о первых депортациях евреев. Самые богатые семьи были схвачены и высланы в Лодзь, оккупированную Польшу. Вскоре стало известно, что с ними все в порядке, и, если не считать неудобств проживания, это не показалось нам чем-то страшным. А для оставшихся в Праге евреев это мало чем отличалось от насильственного переселения нацистами в бывшие гетто, где на семью отводили одну комнату. Забытые в захолустье Баррандова, мы все еще были в безопасности. Но еврейские домохозяйки на всякий случай начали печь печенье, запастись сахаром и маслом. Все принялись перекрашивать простыни и наволочки в темные цвета, чтобы в неопределенном будущем сэкономить на мыле.

По спекулятивной цене мы купили себе большие вещевые мешки и рюкзаки, в которые за сутки при необходимости можно упаковать все необходимое. Каждый раз, когда кто-то из нас выходил из дома, мы брали с собой сверток, куда аккуратно было завернуто что-то ценное – фарфоровая чашка, небольшой коврик или картина, вынутая из рамы. Все это отдавалось на хранение надежному другу-христианину. Мы с Джо вынесли из дома всю библиотеку, книгу за книгой.

Это занимало нас и не давало слишком глубоко задумываться о происходящем. Как ни странно, я все еще работала, улыбалась нашим постоянным клиентам и слушала немцев, которые вновь и вновь уверяли меня, что у них нет никакой личной враждебности по отношению ко мне или маме, и не забывали просить кланяться ей. Наши клиенты-чехи были сродни солнечному лучику – они предлагали любую посильную помощь. Многие фамильные ценности нашли пристанище у них. И они упорно давали понять Мари, что продолжают приходить в ателье только из-за меня. Именно такие клиенты, школьные друзья и знакомые по спортивной секции помогли мне сохранить веру в человечество.

Подавленный из-за того, что я кормлю всю семью, Джо, чтобы приносить в дом хоть немного денег, связался с группой молодых людей, промышлявших обменом валюты на черном рынке. Первоначальный успех повлек за собой неосторожность, и в феврале 1942 года их арестовали и отправили на пять месяцев в тюрьму, где и так-то было тяжело, а после убийства

рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха<sup>8</sup> стало еще хуже. В июне, после этого успеха Чешского Сопротивления, нацисты впали в ярость: они бесчинствовали и держали в страхе все население страны, прочесывали город в поисках преступников, арестовывали людей сотнями. Охранники ежедневно выбирали случайных заключенных и расстреливали их в тюремных дворах.

С самого начала заключения Джо посылал мне сообщения через чешского охранника, который оказался таким надежным, что на свой 22-й день рождения в конце февраля я получила почти метровый куст белой сирени. Позже я смогла раз в неделю навещать Джо в тюрьме и приносить ему еду и чистую одежду. Теперь же он заваливал меня мольбами вытащить его оттуда. Отец относился к этим отчаянным призывам с нескрываемым презрением и говорил, что просить женщину о помощи в такой опасной обстановке «не по-мужски». Он считал, что Джо рисковал на черном рынке и получил по заслугам.

Я не переставала удивляться тому, что отец по-прежнему считал немецкие правила и предписания если и не справедливыми, то вполне законными. Но все мы были вынуждены принимать сотни абсурдных указов как неотъемлемую часть жизни. Даже евреи не могли выстоять под непрекращающимся заградительным огнем нацистской пропагандистской машины.

После того как в ответ на убийство Гейдриха нацисты уничтожили поселок Лидице<sup>9</sup>, выйти на человека, который согласился бы отпустить Джо в обмен на взятку, было нелегко. Я так и не смогла найти никого, кто был бы готов рискнуть жизнью ради освобождения Джо. Нескончаемые споры с отцом только усилили напряжение, и я впервые начала открыто не соглашаться с его часто несправедливой критикой. Mutti изо всех сил пыталась сохранить семейную гармонию и нередко служила громоотводом нашего гнева. Ситуация усугубилась еще и сообщением Мари о том, что, учитывая сложившееся положение дел, я больше не могу работать у нее. Это так сильно уязвило мою гордость, что я даже не стала просить у нее дать мне хоть немного денег.

Не зная, что делать с внезапно образовавшимся свободным временем, я начала убираться в доме, начищая воском все, что попадалось на глаза. Еще, насколько позволяли наши скромные продовольственные запасы, большую часть которых составляли овощи, я немного научилась готовить. Я и теперь смотреть не могу на морковный торт, гуляш из картошки и любое другое варево тех дней.

Однажды, когда мне было нечем заняться, я прицепила Звезду Давида на ошейник Томми и сказала ему, что он теперь тоже еврей. Прежде чем мы вышли на улицу, матушка попросила меня снять с собаки звезду. На поле я отпустила его с поводка, и вскоре он принялся гонять кроликов и исчез из поля зрения. Я свистела и звала его, но домой вернулась в одиночестве. Я не беспокоилась, потому что он частенько бегал по округе один, но всегда возвращался. Когда к ночи он не появился, мы забеспокоились, но из-за комендантского часа поиски пришлось отложить до утра. Мы решили разделить и разошлись в разные стороны. По возвращении мы увидели, как Mutti плачет у порога. Она услышала, что Лахман, увидев собаку, якобы принял ее за кролика и застрелил. стыдно признаться, но мы горевали из-за собаки сильнее, чем из-за моей свекрови, и эта потеря умножила мое предчувствие надвигающейся беды. Тогда мне захотелось, чтобы произошло хоть что-нибудь, любая перемена.

---

<sup>8</sup> Рейнхард Гейдрих (1904–1942) – начальник Главного управления имперской безопасности, заместитель имперского протектора Богемии и Моравии, инициатор «окончательного решения еврейского вопроса».

<sup>9</sup> 9 июня 1942 года несколько подразделений немецкой полиции взяли чешский поселок Лидице в кольцо, мотивируя это тем, что там могут скрываться исполнители убийства Гейдриха. Все мужчины старше 15 лет были расстреляны, женщины отправлены в концентрационные лагеря. Детей нацисты убили в газовых камерах, а все до единого строения в деревне сожгли. Утром 11 июня остатки поселка сравняли с землей.

## Глава 8

Перемены начались быстрее, чем я ожидала. В середине июля Джо выпустили из тюрьмы. Через две недели нам домой принесли жуткую синюю бумагу, в которой было сказано, что его отправляют в Терезин. Туда брали только молодых мужчин. Они должны были строить дорогу от существующей станции Богушовице<sup>10</sup> до Терезина, старого гарнизонного городка, построенного в 18-м веке Иосифом II, императором из рода Габсбургов, и названном так в честь его матери, императрицы Марии Терезии.

Мы знали о том, что депортация идет полным ходом, а после отъезда Джо поняли, что наши дни дома сочтены, но внезапно поезда с ссыльными перестали отправляться. Потому-то мы наконец решились удалить мне миндалины. Долгие годы я боялась и не могла этого сделать.

Отец отправился в городской центр еврейской общины, куда приходили бланки на депортацию, чтобы узнать, планируются ли в ближайшие две-три недели какие-нибудь мероприятия. Нас заверили, что в ближайшее время депортация проводиться не будет, поэтому рано утром я легла в единственную в Праге больницу для евреев. В восемь утра мне провели операцию под местной анестезией, но возникли некоторые затруднения, и эта якобы короткая процедура продлилась два часа. Я спала, когда после обеда друг Джо, работавший в той больнице фельдшером, с печальным лицом подошел к моей койке. После недолгих колебаний он сказал, что днем объявили новые списки на депортацию, в которых значились и наши с родителями имена. Он сказал, что из-за операции я могу не ехать. На секунду эта мысль промелькнула у меня в голове, но думать тут было не о чем. Я чувствовала, что должна быть с родителями. Я же хотела перемен, да и что я буду делать в Праге одна? Мне припомнилось, как часто в юности мне хотелось освободиться от родителей, но внезапно пришло осознание того, как мы близки и как сильно зависим друг от друга. Еще я чувствовала ответственность за них, словно за прошедшие годы они каким-то необъяснимым образом стали моими подопечными. Что бы ни ждало в Терезине, мысль о том, чтобы отпустить их туда одних, была куда более невыносимой, чем боль в горле.

На другое утро, вопреки настояниям врача, еще до прихода родителей я ушла из больницы и вернулась домой, чтобы помочь им собрать вещи.

Через два дня мы сели на трамвай до «Выставиште». Для последней поездки по нашему прекрасному городу было сделано исключение. Мы ехали вдоль реки, мимо площадок, где я играла в детстве, мимо Национального театра и дворца в Градчаны, который, несмотря на развевающуюся свастику, не покинул призрак Томаша Масарика<sup>11</sup>, и мимо старого Карлова моста, где каждый святой был моим старым другом. Я раньше и не осознавала, как сильно люблю этот город. Мы ехали молча всю дорогу. Отрешенные и в то же время связанные нашими воспоминаниями.

---

<sup>10</sup> Богушовице-над-Огржи – город в северо-западной части Чехии. – *Примеч. ред.*

<sup>11</sup> Томаш Гарриг Масарик (1850–1937) – один из лидеров движения за независимость Чехословакии, впоследствии первый президент Чехословацкой Республики, с 1918-го по 1935 год. – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

## Глава 9

Должно быть, я задремала: помню, как матушка осторожно тронула меня за плечо и сказала, что пора подниматься и строиться в шеренгу, потому что сейчас мы пойдём к поездам.

В четыре утра мы шагали в колоннах по пять человек по спящим улицам к погрузочным станциям, скрытых от взора горожан. У стариков и молодых на шеях висели шнурки с номерами. Груженные пожитками, словно мулы, мы шли медленно, как черепахи, что очень раздражало эсэсовцев, которые шагали по бокам колонн, подталкивали нас и кричали:

«Schneller, Schneller, Saujuden, Bewegung!»<sup>12</sup>

В вагонах стояла жуткая неразбериха. С собой можно было взять только ручную кладь, чемоданы перевозились в отдельном вагоне, но никто не был готов отдать хоть что-либо. Дети терялись, находились, плакали, но в конце концов поезд был заполнен и двери захлопнулись. После новых криков и дополнительных задержек поезд тронулся. До Терезина было всего пятьдесят километров, но мы добрались туда лишь к полудню.

Когда поезд остановился в Богушовице, мы увидели стоявших на платформе чешских жандармов и примерно тридцать эсэсовцев, которые конвоировали нас и, возможно, приглядывали за жандармами. Еще на станции было много заключенных, чья работа состояла в разгрузке вагонов и помощи эсэсовцам. Многие приходились депортируемым родственниками или друзьями. Один успел украдкой сказать мне, чтобы я держала при себе как можно больше вещей, потому что мы вряд ли вновь увидим наш багаж и чемоданы. Еще он передал мне сообщение от Джо и сказал, что тот ждет меня в гетто.

Летнее солнце сияло в зените, а мы были одеты так, будто собираемся в Сибирь, потому что постарались взять с собой как можно больше теплых вещей. Нагруженные рюкзаками и тянущие с собой все, что можно было унести, мы отправились в самую долгую в моей жизни шестикилометровую прогулку. Шли мы очень медленно, тех, кто отставал, снова и снова загоняли в некое подобие упорядоченной колонны. На открытой дороге солнце палило нещадно.

Люди спотыкались и падали, их поднимали родственники или мальчишки из гетто. Это было настоящее мучение, все мысли сводились только к предстоящему шагу. Мое горло после удаления миндалин превратилось в пылающий шар, но меня душила жалость к отцу, чьи артерии на шее заметно пульсировали, и к маме, которая, казалось, становилась все меньше и меньше под тяжестью ее груза. Ни до ни после моя ненависть к этим тевтонцам не была сильнее.

Крики смолкли, и процессия продолжила движение в жутком безмолвии. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы дошли до ворот гетто.

Терезин – крепость, построенная еще при императрице Марии Терезии для гарнизона в 3500 тысячи человек. Во времена Республики столько же солдат размещались там на постоянной основе, но к ним прибавились еще 1500 тысячи мирных жителей. В основном это были мелкие лавочники, владельцы гостиниц и их семьи. Летом 1942-го сюда привезли 35 000 евреев. Нас прогнали по «главной улице» гетто к набережной в конюшни со сводчатыми потолками и наваленной на пол грязной соломой. Здесь нам предстояло переждать карантин. Вот только какой карантин? Пока мы шли, я искала глазами Джо, но его нигде не было. Расстроенная и уставшая, я растянулась на земле и отказывалась говорить или даже открывать глаза.

Тем временем Mutti пыталась найти чистую питьевую воду, уговаривала отца хоть немного поесть и старалась вывести меня из ступора. С самого начала немецкой оккупации она проявляла тем больше стойкости и смелости, чем больше бед обрушивалось на нас. Ибо сколько себя помню, она всегда была очень хрупкой и страдала как от настоящих, так и от психосоматических недугов. Теперь же она чувствовала себя сильной, здоровой и ни на что не

---

<sup>12</sup> Быстрее, быстрее, еврейские свиньи, не останавливаться! (нем.)

жаловалась. Постепенно ее слова стали доходить до моего притупленного сознания и обретать смысл. Зная находчивость Джо, она предположила, что он уже придумал способ повидаться с нами. А где еще это можно сделать, как не в уборной, ведь рано или поздно все пойдут туда?

И она оказалась права. Мы пошли к этой вонючей яме, а там за деревянной перегородкой прятался, поджидая нас, Джо. Он знал только то, что за нами уже отправлен поезд, и после незначительных корректировок состава через 48 часов он уедет в неизвестном направлении. Но Джо умолял нас не нервничать: мы не попадем туда, пока его работа по постройке железной дороги от Богушовице в гетто считается необходимой – а семьи железнодорожников защищены от дальнейшей депортации. Возможно, он из лучших побуждений забыл упомянуть, что членом семьи считалась только жена, но не ее родители.

Еще Джо сказал, что в Терезине довольно терпимо, хотя людей очень много. Но когда карантин закончится, нам определят постоянное место жительства, и мы непременно привыкнем к новой обстановке. Его слова не уняли всех наших тревог, и мы вернулись в конюшни, где папа в полном отчаянии сидел на полу, скрестив ноги. Пока нас не было, разнесся слух, что Терезин – лишь первая остановка на долгом пути. Затем раздали новые, розовые бланки, и мы поняли, что слухи были правдивы. Лишь немногим, в их числе была и я, вручили бланки белого цвета, означавшие, что я остаюсь в Терезине. Я попыталась убедить родителей, что это какая-то ошибка и Джо все уладит, но их оптимизм исчез бесследно. Я уверена, что папа умер именно тогда, хотя на самом деле он прожил еще несколько дней. Этот великолепный джентльмен, офицер армии Австрийской империи, этот эстет теперь сидел на полу, скрестив ноги в ворохе грязной соломы. Слезы текли у него по лицу, когда он пытался сказать мне все то, что за двадцать два года моей жизни ему не позволяли произнести гордость и запреты. Он говорил, что дочь – центр его вселенной, как он любит меня и что не сможет жить без меня. Mutti и я замерли, оглушенные неудержимым потоком признаний. Каждая из нас по-своему считала, что знает его, но мы никогда не видели ничего, даже отдаленно напоминающего такое проявление чувств. Отец, которого я знала, целовал меня только на прощание перед долгим отъездом, и всегда только в лоб. Он сказал, что не собирается ждать, когда нацисты убьют его и маму. Со странным выражением лица он похлопал себя по нагрудному карману и заявил, что у него есть средство, чтобы позаботиться о себе, прежде чем все станет невыносимо, – пузырек с ядом. Мне следовало промолчать, но я не сдержалась. Я сказала ему, что после того, как гестапо арестовало нас в Праге, я нашла этот пузырек в ящике стола. Его содержимое настояло на мне, и я отнесла его к аптекарю на анализ, а узнав, что это за таблетки, подменила их сахаринном. И тогда я в последний раз я увидела до боли знакомый приступ папиной ярости. Он кричал, что я еще ребенок и не имею никакого права вмешиваться в его дела.

Я чувствовала себя ужасно, словно раздавленный червяк. Mutti была блее мела, и тут я поняла, что она знала о запасном плане папы и теперь чувствует себя такой же беспомощной, как и он. Внезапно я осознала, какой чудовищный поступок совершила. Вместо того чтобы защитить отца, я отняла у него последнюю возможность самому решить свою судьбу, как свободному человеку. Я хотела все объяснить. Я хотела сказать им, что подменила таблетки потому, что не могла и думать о том, что останусь одна, без них. Я хотела сказать им, как сильно люблю их, но не могла вымолвить и слова.

Я пошла к *Капо*<sup>13</sup> и попросила, чтобы мне позволили уехать вместе с родителями. Он ответил, что торговаться с *Kommandantur*<sup>14</sup> – себе дороже, и я, по всей вероятности, сошла с ума.

<sup>13</sup> Капо – привилегированный заключенный в концлагерях фашистской Германии. – *Примеч. ред.*

<sup>14</sup> «Военная комендатура» (нем.) – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

Как мало было сказано за те часы, что и тянулись, и таяли. Я надеялась, что каким-то чудом Джо окажется прав, и вот-вот появятся еще два белых листка, которые спасут моих родителей.

На следующий день проводилась перестановка в составе поезда. Прибыли новые люди, которые должны были заменить тех, кто оставался. С необъяснимой уверенностью матушка решила, что нагружать себя разбросанными вокруг нас узелками бессмысленно, поэтому, одевшись тепло, она взяла с собой только маленькую сумку с едой в дорогу. Все остальное оставалось со мной в Терезине. За этими практическими занятиями она спокойно обратилась ко мне:

«Постарайся забыть все то, что отец сказал вчера вечером. Я понимаю, почему ты это сделала. Возможно, три года назад я поступила бы так же. Ты теперь взрослая женщина, и твое место рядом с мужем. Мы с отцом свое отжили. У нас была замечательная жизнь, и ты подарила нам столько радости и поводов гордиться тобой. Что бы ни произошло, мы встретим это вдвоем. Ты так молода, и твой долг – выжить. У тебя вся жизнь впереди. Я знаю, что ты сильная и смелая, и доживешь до того дня, когда этих чудовищ постигнет кара. Да хранит тебя Бог, девочка моя».

Раздался звонок – сигнал о том, что пора выдвигаться обратно в Богушовице.

Мы молча поцеловались на прощание, я пошла за ними до дверей здания, а там не смогла отпустить их. Я кричала и умоляла позволить мне уйти с ними, но услышала мамино твердое и тихое «НЕТ!». Мальчишки из гетто подхватили меня под руки и попытались сделать все, чтобы немцы во дворе не заметили, что происходит. А родители уходили все дальше и вдвоем несли маленькую сумку с продуктами. Они не оглянулись. Мучительная боль пронзила все тело, и я съежилась на земле. Я все плакала и не могла остановиться.

## Глава 10

Когда поезд, который увез моих родителей, покинул станцию, всех оставшихся отвели в гетто и распределили по разным баракам. Сначала мне досталось место на чердаке огромного барака под названием *Hamburger Kaserne*<sup>15</sup>, где каждому выдали по матрасу. Я положила его на два чемодана, которые появились там как по волшебству или, скорее, благодаря помощи друзей Джо.

Недостатком такого спального места было то, что либо ноги, либо голова любого человека старше десяти лет непременно оказывались на полу. Проще было бы бросить матрас прямо на пол, но, положенный поверх чемоданов, он помогал мне телом защищать свое имущество.

В тот же день пришли администраторы работ. В Терезине царил самоуправление, за которым, впрочем, строго следила немецкая *Kommandantur*. Там был свой юденрат<sup>16</sup> и своя иерархия. В течение первых ста дней новички выполняли самую тяжелую и грязную работу.

Первые сто дней я проработала помощницей медсестры в бараке, куда согнали старых, больных и обезумевших людей. Когда вечером следующего дня я, все еще в слезах и шоковом состоянии, пришла на двенадцатичасовую смену, то увидела, что на всем этаже работает только одна непрофессиональная медсестра. Она жила в Терезине уже полгода, успела свыкнуться с мрачной обстановкой и обрела силу, необходимую для того, чтобы не сойти с ума. Она была способной и очень деятельной, но ей не хватало сочувствия к таким, как я.

В бараке было темно, и только несколько лампочек в длинном коридоре давали тусклый свет. Все окна были закрыты, а шторы опущены. Времени для разъяснения моих обязанностей не было, я слышала только отпущенные на бегу приказы: «Принеси воды этому пациенту! Этому принеси судно!» Около сотни похожих на призраков людей безучастно лежали на койках или бродили кругом в поисках еды и воды. Бушевали сразу две эпидемии: дизентерия и брюшной тиф. Смертность была высокой, а те, кто еще был жив, ходили на скелеты. У многих была высокая температура, и они то и дело срывали с себя одежду и бродили по коридору абсолютно голые. Стоило мне заглянуть в их лица, как в них проступали черты мамы или папы.

Вонь стояла невыносимая, а когда они начинали кричать, я не знала, к кому из них бежать в первую очередь.

К полуночи мне начало казаться, что многие из них уже мертвы, и теперь их тени пытаются утащить меня с собой в бездну небытия. Моя начальница увидела, как меня рвет в углу комнаты, и, саркастически заметив, что это именно та помощь, в которой она так нуждалась, с отвращением отвернулась. Я понимала, что она имеет полное право быть раздраженной и желать мне провалиться сквозь землю. Каким-то чудом я пережила ту ночь и многие последующие ночи, но я была не в состоянии выдержать эту лавину событий и эмоций и не могла сдерживать потока бесконечных безмолвных слез.

Через несколько дней мне отвели постоянное место на втором этаже *Hamburger Kaserne*. Я вошла в большой барак, где стояли трехъярусные койки, на которых спали семьдесят две женщины. Всем заправляла старшая по комнате, она же и показала мне мое место на средней полке. С соседней койки показалось приятное улыбающееся молодое лицо, окруженное облаком белоснежных волос.

Она представилась как Марго из Бреслау, Германии, и сказала: «Я помогу тебе устроиться. Тут не так плохо, как кажется. Подожди немного и сама все поймешь». Мы сложили мои пожитки на деревянную доску за изголовье кровати и, пока разворачивали одеяла и зеленые простыни, Марго рассказывала, что она работает швеей в детском доме, а ее муж трудится на

---

<sup>15</sup> «Гамбургские казармы» (нем.)

<sup>16</sup> Еврейский совет, который принудительно учреждался в каждом гетто.

постройке железной дороги вместе с Джо. Она провела в гетто чуть больше месяца, но уже успела выработать для себя определенный режим и, к моему удивлению, выглядела вполне счастливой.

Растроганная теплотой и интересом со стороны Марго, я рассказала ей, какой ужас пережила за последние десять дней. Она не пыталась ханжески утешить меня. Марго просто крепко обняла меня, что, как я узнала позднее, было ее выражением тактичности. Тогда я поняла, что мы останемся друзьями на всю жизнь.

Наступил вечер, а вместе с ним в барак с работы начали возвращаться мои соседки по комнате. Надо мной была койка Миссис Т – самого большого противоречия гетто. Будучи женой богатого пражского ювелира, она была новообращенной набожной католичкой, никогда не пропускала молитвы и, казалось, считала себя святой нашего времени, будто сам Бог избрал ее для того, чтобы она приняла свою депортацию как некое подобие стигматов. Подо мной была койка шестнадцатилетней внучки главного раввина Богемии. Главная по комнате оказалась ее матерью, они обе были прекрасными людьми.

Под Марго была койка необычайно полной и забавной старой девы, которая привлекала к себе мое внимание. Она приехала из Франкфурта, Германии, была прирожденным клоуном и развлекала всю комнату грубоватыми шутками, в основном на свой же счет. Койка над Марго принадлежала миссис Джи., бывшей клиентке моей мамы, которая без умолку твердила о мехах, одеждах, украшениях и других бесценных вещах, которые она оставила на пражской вилле. Она была парвеню, и ее изысканно-благородная манера говорить тут же исчезала, когда она ругалась со своей подавленной и невзрачной дочерью.

После шести часов нас пришли навестить мужчины. Им разрешалось сидеть у нас до восьми, и комната наполнилась гулом разговоров и смеха. Когда Джо появился в компании красивого мужа Марго, я впервые за все дни с приезда смогла взглянуть на него без ненависти. Последние дни дались ему нелегко. Должно быть, Джо понимал, что я виню его в том, что лишилась родителей, даже несмотря на то, что, возможно, он спас мне жизнь. Он пытался утешить меня как мог. Джо вытащил пачку сигарет и предложил мне покурить, в надежде, что я хоть на мгновение перестану плакать.

Курение в Терезине было строго *verboden*<sup>17</sup> – под страхом депортации, но это никого не останавливало. Сигареты там были своеобразной валютой. Они ввозились в гетто контрабандой. Для Джо это было не сложно, поскольку он работал за его пределами и ежедневно общался с чехами, которые трудились на строительстве железной дороги. Он уже успел установить регулярное сообщение с христианскими друзьями, оставшимися в Праге, и через них передавал как свои письма, так и послания друзей, у которых снаружи остались родственники или возлюбленные.

Разумеется, самая крупная торговля табаком контролировалась самими немцами, продававшими сигареты за баснословные деньги и утверждавшими такие цены путем террора и обысков. За сигареты можно было выменять все что угодно, даже скромные хлебные пайки у заядлых курильщиков. Вскоре и я вступила в их ряды.

Во время разговора и обмена информацией и опытом с Марго и ее мужем Артуром я заметила, что Артур совсем не пользуется теми возможностями, которые давала работа за пределами гетто. Он был молодым берлинским адвокатом, который сбежал в Чехословакию, познакомившись с Марго в гостях у родственников. Позже Марго сказала, что это была любовь с первого взгляда. Они поженились и обосновались в Праге, но их попытки эмигрировать ни к чему не привели.

Они немного подучили чешский, полюбили город и людей, живущих в нем, но в конце концов их все же депортировали в Терезин. Несмотря на то, что Артур был таким же евреем,

---

<sup>17</sup> «Запрещено» (нем.)

как и все в его бригаде, его там считали иностранцем. Едва заметная прусская официальность и незнание местного диалекта ставили его в невыгодное положение. Марго, работавшая швеей, могла уговорить повара в детском доме выдать ей несколько порций еды и умела устроиться куда лучше, чем Артур, у которого были для этого возможности, но не было смекалки.

Молодые чешские евреи были элитой гетто. Нет сомнений в том, что их связи с внешним миром значительно облегчали им жизнь по сравнению с заключенными из Австрии, Германии, а чуть позже и из Голландии и Дании. Чешские жандармы, которые были нашими непосредственными надзирателями, как правило, сочувствовали нам и даже помогали тем, кто не работал за пределами гетто, устанавливать связи с внешним миром. Многие из них служили в армии с нашими ребятами. Разумеется, они получали вознаграждение за свою помощь, но это не умаляет ее ценности.

У чешских евреев всегда была возможность получить место на кухне или в распределительном блоке, или у них там были друзья и родственники, потому как все эти должности занимали по преимуществу местные евреи. Пожилым иностранцам без семьи в гетто приходилось очень трудно. Мало-помалу они выменивали на еду все, что у них было. Большим спросом пользовались клетчатые пледы, которые немецкие евреи взяли с собой, поверив словам властей о том, что их везут на курорт «Терезиенштадт». Это стало для меня «золотым дном». Я заработала немало кусочков хлеба и салами, перешивая эти пледы в юбки для жен и подруг поваров и начальников снабжения.

## Глава 11

На самом деле гетто было всего лишь обществом в миниатюре, во всем его многообразии и со всеми свойственными человеку положительными и отрицательными качествами, которые там лишь усиливались. Это социально-экономическое расслоение поощрялось самими немцами, которые наделяли определенных людей властью над транспортными составами и доступом к распределению еды и работ. Как правило, когда речь шла о депортации, *Kommandantur* указывала только число людей, их возраст и национальность. Вмешательство немцев в управление лагерем чаще всего ограничивалось внезапными проверками или требованием ежедневных отчетов от юденрата.

Муж быстро разобрался в ситуации, приспособился и извлек из нее максимальную выгоду. Здесь Джо определенно везло больше, чем в последние годы жизни в Праге. Он чувствовал, что нужен мне и своим друзьям. Сама мысль о том, что он может обвести нацистов вокруг пальца, когда того захочет, подстегивала его уязвленное самолюбие. На мой двадцать третий день рождения, первый из тех, что я отпраздновала в неволе, 26 февраля 1943 года, Джо с гордостью преподнес мне флакон французских духов и пару свиных отбивных, которые он контрабандой пронес в лагерь, спрятав их в полых подплечниках.

Мне понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть к Терезину. Но через несколько недель на улице я повстречала миссис У., и все стало меняться к лучшему. Миссис У. когда-то была конкуренткой моей матери и знала меня с детства. Узнав о том, где мои родители, она поинтересовалась, какую работу я здесь выполняю.

Когда я поведала ей о бессмысленных попытках ухода за больными, она отвела меня в *Magdeburger Kaserne*<sup>18</sup>, где размещалась администрация. Там она потребовала освободить меня от обязательных стодневных работ, чтобы я могла начать трудиться в мастерской, где шили дешевые хлопковые платья для немцев, и управлять которой ее поставила *Kommandantur*. Из почти сотни работниц лишь немногие шили действительно хорошо, отчего производство сильно хромало. Чуть позже, когда она не смогла выполнить нормативы, ее уволили с поста начальницы производства, и мы стали шить форму для немецких солдат. Однако тогда ее доводы возымели действие, отчасти потому, что они были разумны, но я подозреваю, что немало важную роль сыграло и то, что начальник лагерного производства приходился ей каким-то дальним родственником.

Так в мою жизнь вернулось некое подобие стабильности. Работать по десять часов с тем, в чем разбираешься, труда не составляло. Небольшой вечерний отдых с подругами очень помог мне, и впервые за несколько месяцев я смогла уснуть. Инстинкт самосохранения и осознание того, что моя судьба отнюдь не уникальна, сделали свое дело. Но куда более важно то, что я снова начала интересоваться людьми и постепенно отошла от непомерной заикленности на себе, свойственной детям, у которых не было братьев или сестер.

Мой брак, и без того довольно шаткий, претерпел несколько серьезных ударов. У нас с Джо никогда не было возможности по-настоящему узнать друг друга, а теперь мы были лишены единения. Мое отношение к его подвигам было двойственное. Мне не нравилось, что он так рискует. Я восхищалась его успехами, но никогда не высказывала этого, при этом с удовольствием пользовалась теми преимуществами, которые они давали. Обеспокоенная его ежедневными авантюрами, я так и не поняла, почему он рисковал и тогда, когда в этом не было необходимости. Я завидовала Марго и Артуру, которые были так сильно влюблены друг в друга, и ненавидела себя за то, что не могу дать мужу хоть немного любви и понимания. Прочие моло-

---

<sup>18</sup> «Магдебургские казармы» (нем.)

дые семьи распадались из-за неуверенности в будущем и желания взять от жизни как можно больше наслаждений.

Напряжение существования в гетто и непрекращающаяся депортация делали человеческие отношения непредсказуемыми. Зачастую общение со старыми друзьями в новой, удушающей обстановке становилось невозможным, а незнакомцы превращались в друзей на всю жизнь. Появился совершенно новый образец поведения, во многом самоотверженный и благородный, но временами эгоистичный и аморальный. И я вновь увлеклась религией. Ребенком я была очарована мистицизмом католических обрядов, теперь же я с подозрением смотрела на миссис Т. и других новообращенных, чью веру не покачнула абсурдность всей ситуации.

Моя подруга Вава (ближайшая кузина Джо) формально всю жизнь была католичкой. Ее родители, как и мои, были агностиками. Теперь же, под влиянием ее друга, венского раввина, она возвращалась к иудаизму. Я не относилась ни к иудеям, ни к католикам. Чувствуя свое одиночество, в первое лагерное Рождество я отправилась на католическую мессу, которую тайно служили на одном из многочисленных чердаков. Почти пятьдесят человек всех возрастов совершали одни и те же движения. Это пугало. Не имея в сердце истинной веры, я не чувствовала ни утешения, ни присутствия Бога – совсем ничего.

Позднее вместе с Вавой я побывала на субботней службе в самом старом и мрачном бараке Терезина. Там были только старики в молельных шалях, раскачивающиеся и затерянные в чуждом и непостижимом для меня мире. Я ушла оттуда в недоумении. Вава сказала, что я должна была почувствовать родство с этими людьми, но там я чувствовала себя чужой и не почувствовала никакого отклика. Я хотела делать что-то важное, что объяснило бы причину нашего существования, вместо того, чтобы молиться Богу, который, очевидно, оставил нас. Но крайне активные тайные общества сионистов и коммунистов вызывали у меня одинаковую неприязнь.

Как раз в то время такие же молодые пары, как мы с Джо, которым жилось сравнительно лучше других, неофициально начали усыновлять детей, оставшихся в Терезине в одиночестве, чьи родители погибли или находились в другом лагере. Замысел заключался в том, чтобы хоть немного заменить им родные семьи и, делясь едой, поправить их здоровье.

Норма продовольственного пайка была минимальной. За день обычно выдавали восьмисантиметровый кусочек темного хлеба, две чашки черного кофе, который лишь изредка напоминал настоящий кофе, порцию горохового или чечевичного супа (горстка бобов, плавающая в темной воде), три или четыре картофелины в мундире, ложка томатного соуса, или горчицы, или кусочек репы. Мясо давали редко, его называли «гуляш»: коричневая подливка с редкими кусочками конины. В него шло только то мясо, которое продовольственный отдел признал «непригодным для употребления». Время от времени можно было получить еще крошечный кусочек салями или треть небольшой банки печеночной пасты, немного маргарина или масла чернослива. Дети питались немного лучше, но и их диета никак не способствовала росту.

Мы с Джо отправились в детский дом, чтобы выбрать ребенка на усыновление. Выбор был огромный, но, посмотрев на мой возраст, начальница заведения сказала, что всем будет лучше, если мы возьмем ребенка трех или пяти лет. Во время обсуждения деталей я заметила темноволосую девочку лет девяти с огромными карими глазами, которая одиноко стояла в углу и наблюдала за всем происходящим. Несмотря на протесты директрисы, я настояла на том, что мы должны удочерить Гизу, двенадцатилетнюю девочку, которая, не сказав ни слова в ответ на наше предложение, все же согласилась прогуляться с нами, чтобы познакомиться получше. В деле Гизы было сказано, что во время аннексии Судет<sup>19</sup> ее родителей арестовали, и больше о них ничего не было известно. Ее и брата поместили в приют в Карлсбаде, а после оккупации перевели в пражский приют. Спустя четыре года его в полном составе эвакуировали в Терезин.

---

<sup>19</sup> Первый этап оккупации Чехословакии еще до начала Второй мировой войны в октябре 1938 года.

Шестнадцатилетний брат Гизы по возрасту уже должен был работать. Он жил в мужском бараке и нечасто навещал сестру. Она, словно мышонок, с подозрением относилась ко всему и всем. Прошли недели, прежде чем мне удалось заставить ее улыбнуться. Несмотря на постоянный голод, она откусывала лишь кусочек от всего, что мы ей давали, а остальное прятала в карман. Я до сих пор не знаю, зачем она это делала: возможно, чтобы съесть позже, а может, хотела поделиться с братом. Как-то раз мы дали ей немного шоколада, и оказалось, что она видела его впервые.

Однажды Гиза услышала, как в разговоре с Джо я произнесла несколько английских слов, и наконец-то оттаяла.

– Ты говоришь по-английски! – воскликнула она. – Научишь меня?

Так мы и подружились. Я занималась с ней по часу в день, импровизируя по ходу занятий. Она впитывала знания, как губка, и, к счастью, начала больше есть и немного поправилась. В одежде больших размеров она выглядела еще тоньше, чем была на самом деле, поэтому я перешила для нее что-то из своих вещей. Она стала разговорчивее, а как-то раз, увидев свое отражение в окне на улице, даже немного возгордилась.

Она вспоминала родителей, и со временем рассказала мне многое о том времени, когда они еще были рядом. Гиза никогда не плакала и всегда сохраняла очень взрослую дистанцию. Она, несомненно, воспринимала меня как друга, но ни у кого и не было иллюзий, что я когда-нибудь заменю ей мать.

## Глава 12

В 1943 году моя жизнь казалась мне более-менее стабильной, хотя поезда с заключенными постоянно прибывали и отправлялись. Отправка поезда всегда вызывала панику и бесконечные споры о том, кто должен уйти, а кто – остаться. Иногда привозили только молодых, способных работать, а иногда – старых и больных. Железную дорогу из Богушовице должны были достроить нескоро, поэтому мы с Джо не очень волновались. Слухи ходили разные: это последний поезд, война закончится через пару недель, самое большее – через три месяца.

Не стоит удивляться, что, находясь в такой атмосфере, мы с Марго решили сходить к хироманту. Мы слышали о старушке из Германии и как-то вечером пришли к ней – в барак для стариков. Мы сидели у окна. Пока она водила сморщенными пальцами по моей ладони, я смотрела на ее красивое спокойное лицо. Помолчав, она посмотрела мне в глаза и сказала: «Дитя, твой муж красив и молод, но я вижу тебя вдовой. Он участвует в чем-то, и это будет стоить ему жизни. Ты же будешь жить и выйдешь замуж за человека, которого знаешь с детства. Ты покинешь Европу и пересечешь с ним великий океан, чтобы там создать новую семью».

Я хотела узнать, что стало с родителями, но она ничего не сказала и развернулась к Марго. Покачивая головой, она сказала: «Сколько вдов... Сколько вдов...» Старушка рассказала Марго о событиях, которые и правда случились с ней, а потом заверила ее, что Марго предначертано жить, а ее мужу – нет. Ее слова расстроили нас, и мы изо всех сил пытались высмеять все, что произошло, но забыть ее предсказания оказалось нелегко.

Но, несмотря ни на что, жизнь порой бывала приятной и даже забавной. В сопровождении аккордеона звучала камерная музыка, в невероятно тяжелых условиях устраивались вечера оперы, поэзии и драмы. Декорации мастерили из досок, украденных со склада лесоматериалов, где работали многие заключенные, тряпок и мешков из-под картошки. Партитуры переписывались от руки, а музыку записывали по памяти или придумывали что-то свое. Нигде мне больше не довелось услышать столь глубокое исполнение «Реквиема» Верди. Ария *Libera Me*, которую в Терезине пела блестящая сопрано из Берлина, приобрела новый смысл. Через три недели ее исполнительницу отправили на восток.

Такое невероятное количество талантливых людей, собранных в этом Богом забытом месте, поражало, и сковать их было невозможно. Художники рисовали, делали наброски и писали на любом клочке бумаги, который попадался им под руку. Постоянно проходили дискуссии, дебаты, а разговорам не было конца. Депортация всякий раз разрушала какую-нибудь творческую задумку, но на место ушедших художников и артистов приходили новые. Вот только бочка талантов не была бездонной, и до конца войны дожили немногие.

По субботам, если позволяла погода, проводились футбольные матчи. Играли во дворе *Dresden Kaserne*<sup>20</sup>, окруженной балконами со сквозным проходом. Идеальная обстановка для боя быков, и почти столько же человек сидело на трибунах. Все одевались в лучшее, что у них было, и изо всех сил болели за свою команду. На несколько часов мы забывали о том, что находимся в лагере.

Старухи, матери и бабушки были самыми поразительными обитателями нашего муравейника. По силе и находчивости они превосходили своих супругов и после долгого, полного работы дня, могли превратить набившую оскомину картошку во вкусный отвар, а свои койки – в маленькие домики. Они редко жаловались и даже в разгаре спора, бросая друг другу обвинения и упреки, не забывали о хороших манерах и обращались друг к другу только уважительно. Единственной их слабостью были нежные воспоминания о прошлом. Казалось, что количество дорогих их сердцу вещей растет день ото дня, и в какой-то момент создается впечатление,

---

<sup>20</sup> «Дрезденская казарма» (нем.)

будто все евреи в прошлой жизни были невероятно богаты. Мне это увлечение казалось невинным, забавным, и лишь в некоторых случаях – вредным.

Однажды, зашив очередную рваную униформу, я расчесывала волосы и заметила на расческе маленьких ползающих насекомых. На мгновение я впала в ступор, а затем ворвалась в барак с криками, что у меня вши – ВШИ! – и что я никогда, никогда от них не избавлюсь и что у Марго наверняка тоже вши, потому что наши койки сдвинуты вплотную.

Марго приняла эту новость куда спокойнее и заметила, что я не первая, кто нашла у себя вшей. Она где-то «раздобыла» (украдала) большую канистру с керосином, и следующие три дня мы поливали им волосы, пока не началась экзема. Еще одна трудность заключалась в том, чтобы смыть его с волос холодной водой, потому что другой у нас не было, но мы как-то исхитрились и бросили все силы на еженощную охоту на вшей. Мы садились на койки, укрывались одеялом с головой и зажигали свечу. Можно ли было устроить пожар? Да, но мы наострились выслеживать наших мучителей.

Вскоре после этого я заболела свинкой. Из-за полосканий в холодной воде она протекала очень тяжело. Мое лицо напоминало огромную грушу, и только лоб остался прежних размеров, что сильно удивляло соседок и доктора, который даже приводил коллег взглянуть на такой редкий случай. Стоит ли говорить, что мне было совсем не до смеха, а когда даже Джо и Марго не смогли сдержать улыбок при виде меня, я разозлилась. Детские болезни в гетто правили бал, и любой, кто не переболел ими в детстве, имел все шансы заразиться.

По приезде в Терезин мне не сразу удалось повидать Китти, подругу детства, потому что у нее была скарлатина. Мы очень расстроились, ведь всю жизнь были неразлучны: она приходилась мне троюродной сестрой и стала моим альтер-эго с того самого дня, как появилась на свет двумя годами позже меня. Мы жили в одном районе, родных братьев и сестер у нас не было, и мы буквально выросли вместе. Китти попала в Терезин на одном из первых поездов в декабре 1941 года, и все восемь месяцев разлуки мы ужасно скучали друг по другу. Ее родители тоже были в гетто. Отец, Лео (Лев) Вохризек был старшим по бараку, а высокое социальное положение защищало его от дальнейшей депортации. В больнице она узнала много забавных историй о врачах и медсестрах и была очень рада нашей встрече.

В Терезине у Китти был возлюбленный по имени Буби, который быстро сдружился с Джо. Тот факт, что в Праге у нее остался жених-христианин не сильно ее волновал. Потом, когда придет время, все можно будет объяснить. Как и многие чешские старожилы, она жила в относительно комфортных условиях: с тремя другими девушками они занимали небольшую комнатку в том же бараке, где жила я.

Со свойственным ей великодушием и озорной искоркой в глазах она тут же предложила нам с Джо время от времени превращать ее комнату в любовное гнездышко. Совместно девушки составили замысловатый график и распределили время между своими романами и моим браком. По вечерам я заглядывала к ним, и мы отлично проводили время. Помимо веселого настроения этой четверки вечерами мы часто наслаждались обществом одного из их поклонников, в прошлом музыканта из ночного клуба, который, казалось, обладал тайной силой пробираться в женский барак после наступления комендантского часа. Под аккомпанемент его аккордеона музыка и пение часто затягивались до глубокой ночи.

Возлюбленный Китти Буби работал в лагерной полиции. Это был опереточный отряд, который частенько помогал нам осуществлять проделки за спинами у жандармов и нацистов, по крайней мере, тех, у кого было чувство юмора.

На следующий год Буби, Джо и еще один караульный гетто по имени Гонза соорудили *кумбал*<sup>21</sup>. Похожие сараи без крыши устанавливали на чердаках нескольких бывших жилых домов Терезина. Размерами примерно три на пять метров, он был сооружен из «организован-

---

<sup>21</sup> «Каморка» (чеш.)

ной древесиной», купленной за сигареты и прочую контрабанду. Его стены украшали полки и красивые зеленые простыни, а из мебели были только три раскладушки. Это место напоминало маленький загородный коттедж и давало пусть и редкую, но все же возможность уединиться, тем более что все ребята работали в разную смену. В любом случае ссор из-за него у нас никогда не возникало. Но самым приятным было то, что у нас теперь был свой угол, куда мы могли пригласить гостей в воскресенье и где можно было выпить чашечку настоящего кофе без любопытных взглядов соседей по бараку, поговорить и притвориться, что все хорошо.

Разумеется, это было притворство, потому что депортация не прекращалась, друзья покидали нас день ото дня, а смертность среди стариков неумолимо росла. Я никогда не забуду запряженные людьми старомодные катафалки, перевозившие по улицам то трупы из гетто, то наполовину сгнившую картошку, и тот особый запах, что висел в воздухе.

Я успела пожить под руководством трех Старейшин. Первым был Яков Эдельштайн, польский сионист, который не боялся и мог отстаивать свою позицию перед Kommandantur. Его сменил на этом посту Польш Эпштейн, берлинец, который не отличался смелостью и часто отдавал предпочтение своим соотечественникам. Он трепетал перед немцами и часто пресмыкался перед ними безо всякой на то необходимости. Третьим был Бенджамин Мурмельштейн, раввин из Вены.

Эти трое и юденрат имели власть и определенные привилегии, но их положение было отнюдь не простым и выбора у них не было. Еды у них было больше, а жилье – лучше, они обладали исключительной возможностью жить вместе с женами, распределять работы и решать, кто и когда покинет Терезин. И пока эти люди, а они были всего лишь людьми, решали, кого стоит спасти, руководствуясь исключительно своими убеждениями, разногласий с ними быть не могло. Но когда они хотели уберечь друга, друга их друзей, дальнего родственника, а в некоторых случаях в ход шел и банальный подкуп, картина становилась совсем иной.

Эта изощренная система, словно лестница, тянулась от юденрата через все гетто и была нацелена на то, чтобы сравнить заключенных между собой. *Крито*, или еврейская криминальная полиция в штатском, базировалась на шпионаже и доносах на других заключенных. Не всегда они приводили к арестам, но часто играли на руку какому-нибудь облаченному властью садисту или пьяному. Евреи такие же люди, как и все остальные. И чем дольше я жила в Терезине, тем больше понимала, как же трудно человеку сохранить систему ценностей, если предположить, что она у него вообще есть.

## Глава 13

15 и 18 декабря 1943 года из Терезина отправились два поезда, везущие в своих вагонах 5007 молодых людей. Нам сказали, что из-за перенаселенности гетто этих людей везут куда-то строить новый лагерь. Я уверена, что в юденрат знали о месте назначения намного больше, но, опасаясь за собственную шкуру при попытке возможного восстания или побега, они молчали.

События 11 ноября были еще свежи в памяти каждого из нас. В тот день все население гетто, примерно 40 000 человек, вывели в пустое поле. Под морозящим дождем мы простояли там весь день, чешские жандармы с автоматами наперевес охраняли нас, а эсэсовцы считали и пересчитывали. Дрожащие и напуганные, многие решили, что больше не вернутся в гетто. Перепись не была окончена, до некоторых очередь так и не дошла, и к полуночи нас, голодных и истощенных, отправили обратно в бараки.

После этого мы с Джо окончательно убедились, что в декабре нас депортируют. Железная дорога из Богушовице была почти закончена, и Джо начал беспокоиться о том, что причин для отсрочки депортации больше нет. Но ему в голову пришла мысль: если я заболею скарлатиной, то нас обоих поместят на карантин.

Наш хороший друг доктор В. вколол мне большую дозу бактерии, предложив ее вначале Джо, но тот сказал, что у него иммунитет, так как он переболел скарлатиной еще в детстве. Мы ждали появления первых симптомов. К счастью, все ограничилось головной болью и невысокой температурой, пятен так и не появилось, для карантина этого было мало. Правило гласило, что нет пятен – нет и карантина, но нас в итоге так и не депортировали.

Китти повезло меньше. За месяц до этого ей исполнился 21 год, и ее исключили из списка «защищенных», в котором числились ее родители. Тогда же депортировали ее Буби и соседа Джо – Гонзу, а вместе с ними и многих наших друзей. Мы простились с легким сердцем. Китти даже пообещала, что займет для меня соседнюю койку. Глупо, но мы поверили в сказку про новое гетто.

После их отъезда наступило затишье. Поезда больше не уходили из Терезина. Зато прибывали все новые ссыльные, теперь из Голландии и Дании. Но на самом деле перемены шли полным ходом. Когда я только приехала, старая крепость была карантинной зоной, теперь же она превратилась в огромный склад конфискованных за последние годы вещей. Мастерская по починке униформы закрылась, и меня перевели в магазин, где я сортировала и чинила одежду, чтобы лучшие вещи можно было отправить в Рейх.

Происходили очень странные события. Фасады домов на главной улице перекрашивались. Магазины, превращенные в общежития, снова стали магазинами, в витринах которых были выставлены лучшие предметы со склада. Скорее для демонстрации, а не для продажи. Открыли кафе, в которое можно было пройти на час по специальным билетам. Были напечатаны деньги, и открылся банк. Огромный цирковой шатер, поставленный годом ранее и где все это время производили слюду, разобрали, а на городской площади спешно построили музыкальный павильон.

В январе Hamburger Kaserne, в которых проживали три с половиной тысячи женщин, расселили. Барак превратили в конечную станцию построенной железной дороги. В последовавшей за переселением неразберихе я переехала к Джо, который теперь был один в кумбал.

21 января приехал поезд, заполненный хорошо одетыми людьми, и тайна перемен была раскрыта. Прибывшие гости оказались евреями из Голландии, которых юденрат лично встретил торжественной речью. Kommandant СС и его приспешники помогали женщинам и детям выходить из машин, вся постановка снималась на камеры, чтобы потом в качестве доказательства показывать по всей Европе, как же хорошо Рейх охранял евреев во время их путешествия. После приветствия им раздали открытки, чтобы они написали своим друзьям, оставшимся в

Голландии, и заверили их в своем благополучии. Но дальше – лучше. Название «Терезинское гетто» изменили на «Еврейское поселение Терезиенштадт». Заключенные больше не должны были приветствовать эсэсовцев, стоять по стойке смирно или освобождать тротуар, когда те проходили мимо.

Невыполнение всего этого раньше привело бы к десяти ударам кнутом. Квартиры Старейшин Совета отремонтировали и обставили современной датской мебелью. Было очевидно, что происходит нечто большее, чем съемка кинохроники.

## Глава 14

Железную дорогу достроили, и для ее обслуживания оставляли ограниченное число рабочих. Джо удалось вырвать себе место в дикой борьбе, но он ездил в Богушовице лишь изредка, когда там нужен был кто-то для работы с циркулярной пилой. Общаться с коллегами-христианами становилось все сложнее и опаснее.

Как-то ночью мне приснился сон. Я была в совершенно незнакомом месте. Кругом словно простирался лес из колючей проволоки, а под ногами была земля цвета охры, которую я никогда прежде не видела в Центральной Европе. Багровое небо то и дело озаряли вспышки света. Я была одна, но меня не покидало чувство, что за мной следят тысячи глаз. Я проснулась от собственного крика и с удивлением поняла, что лежу на своей койке, а Джо смотрит на меня. Ни он, ни Марго, ни кто-то еще из наших друзей никогда не видели подобного места, и даже после долгих обсуждений этот кошмар так и остался загадкой.

Однажды вечером в начале марта Джо сказал мне, что волнуется из-за того, что с ним случилось в тот день. В Богушовице он должен был встретиться со связным, но не смог, потому что в последний момент вместо него отправили другого рабочего. Чтобы не терять времени, Джо попросил его передать записку и деньги связному, а если они разминутся, то не приносить их обратно в гетто. В этом случае пачку денег нужно было оставить в груди железнодорожных шпал, уложенных рядом с пилой. Вечером Джо к своему ужасу узнал, что они не только разминутся, но рабочий, вопреки просьбе Джо, вернулся с деньгами в гетто и попытался под покровом ночи спрятать их в рулон жалюзи для затемнения. Одна редкая крыса из чешских жандармов стояла на другой стороне темной улицы и видела, что произошло. Она донесла в Kommandantur. Через несколько минут в барак ворвались эсэсовцы, сразу же направились к окну, угрожали всем заключенным репрессиями и забрали того рабочего. В записке было сказано только одно: «Джо из хижины», но не было сомнений в том, что рано или поздно рабочий назовет полное имя Джо.

Выбора не было, и на другой день пришлось, как обычно, пойти на работу. Но через несколько часов наш друг, работавший дежурным в жандармерии, пришел сказать мне, что Джо арестовывают. Жандарм уже отправился за ним, чтобы доставить в Kommandantur. Если повезет, то я смогу увидеть Джо, когда его поведут по улицам гетто, но дело, по-видимому, безнадежное. Я кинулась к воротам и увидела, как по дороге идет Джо, он был прикован наручниками к жандарму. Внезапно я вспомнила о гадалке и задрожала от страха. Казалось, будто за ночь Джо постарел на десять лет. Он был бледен и, увидев меня, сразу сказал, что надежды нет.

Я пыталась подбодрить его и умоляла не втягивать в это христианского друга, ведь они не знают его имени. На это он ответил, что боится и не уверен, сможет ли выдержать пытки на допросе. Позже я узнала, что именно так все и произошло, но помимо связного он раскрыл эсэсовцам еще одно имя. Через несколько дней Джо отправили в «Малую крепость», тюрьму строгого режима недалеко от Терезина.

Напряжение последних лет наконец-то взяло свое. Мне было очень жаль Джо, но в то же время я была зла на него. Я чувствовала себя виноватой перед женами еще десяти мужчин, которые были скомпрометированы из-за связи с моим мужем.

Друзья сплотились вокруг, пытаюсь поддержать меня морально. Вава, кузина Джо и моя подруга, попыталась включить меня в список «защищенных» кого-то из юденрата. Окольными путями, без моего личного участия и встречи с этим джентльменом, ей это удалось. Она была хорошей знакомой раввина, который в те дни был главой Совета. Благодаря Ваве я официально стала частью его семьи.

Поскольку я не могла жить в нашей хижине одна, ко мне подселили двух соседок. Одна из них была возлюбленной молодого пианиста и композитора Гидеона Кляйна. Я снова впала в

странное и беспокойное настроение, почти разрушающее оставшееся у меня чувство безопасности, одновременно желая и страшась перемен. Пока шла программа по обустройству, притеснений было немного, но прибытие все новых заключенных изменило национальный состав гетто и его население вновь увеличилось.

Друзья навещали меня каждый день. Чаще других приходили доктор В. и Ф. О. – хорошие приятели и бывшие клиенты Джо. Они проверяли, есть ли у меня еда и «защищали от волков». Я не сразу поняла, что на самом деле они следили друг за другом, потому что обоих в Праге ждали невесты, и каждый из них подозревал, что у другого на мой счет есть неподобающие планы. Приударить за женой друга, который сидит в тюрьме, даже в гетто было табу. Очевидно, никто не думал, что мне хватит здравого смысла, чтобы позаботиться о себе.

В то время Гидеон Кляйн занимался постановкой оперы «Кармен» с благословения и при помощи Kommandant, который отдал ему под репетиции спортивный зал. Вместе с девушкой Гидеона я несколько раз бывала на репетициях, и это не просто забыть. Учитывая все сложности, ставить оперу в гетто равносильно чуду.

Чуть ранее еще один интересный человек вошел в наш ближний круг. Это был известный чешский писатель, которому отвели отдельную каморку в нашем бараке и в качестве особого исключения позволили жить с его старым другом. Ему не только отдали весь его багаж, но и целый книжный шкаф. Он позволил мне брать у него книги, и я прочла много произведений Достоевского. Самое большое впечатление произвел на меня роман «Записки из Мертвого дома», сравнительно небольшая книга о сибирском тюремном лагере. Я заметила там столько сходства с нашим положением! И мы потом еще долго обсуждали, кто у кого чему научился.

На работе у меня был еще один защитник. Чешский жандарм Карел, брат того жандарма, который арестовал Джо. Карел давно знал Джо как друга и помощника. Теперь Карел решил, что его долг – присматривать за мной, то есть подкармливать меня во время дежурства. Он заходил в помещение, где я работала, грубо подзывал к себе, уводил в комнату охраны и запирали там с пакетом бутербродов и маринадов, приготовленных его матерью. Через пятнадцать минут он приводил меня назад и строго наказывал работать усерднее.

Однажды он принес мне маленькую скомканную записку от Джо, где тот писал, что он здоров и любит меня. Карел сказал, что Джо теперь водит грузовики, которые доставляют в крепость уголь, и что если мне повезет, то как-нибудь я смогу увидеть его: из окна комнаты охраны просматривался небольшой участок дороги. Грузовики проезжали мимо, но так быстро, что я даже не знаю, видела ли я Джо или нет. На всякий случай я махала каждой машине.

Весной появились упорные слухи о том, что к нам едет комиссия Международного комитета Красного Креста. На смену *комманданту* Бургеру пришел австриец Рам, который лучше понимал, насколько важно представить этой комиссии образец гуманитарной организации. Детям в приюте заранее сказали, что если к ним придут Kommandant с комиссией, то они должны будут воскликнуть: «Дядя Рам! Опять шоколад!»

Но успех от этих внушений был весьма сомнительным, ведь было в гетто одно печально известное место, в котором невозможно было навести порядок. Психиатрическая больница. Никакая краска или белоснежные простыни не могли скрыть опустошение в глазах заключенных.

Нацистов это волновало, а еще их волновал тот факт, что население гетто вновь перевалило за 40 000 человек. Они решили отправить три поезда по 2500 человек в каждом с интервалом в два дня. Начать решили 15 мая. В списки попали детский дом, психиатрическая больница и те молодые люди, которых сочли возможными нарушителями спокойствия.

Я тоже оказалась в списках. Оставшиеся у меня друзья дергали за все возможные ниточки, но быстро выяснили, что меня депортируют по особому приказу Kommandantur – в качестве ответной меры на то, что Джо нарушил правила гетто. Таких, как я, было еще трое: две жены, чьи мужья были втянуты в это дело, и четырехлетний сын одной из них.

Доктор Мурмельстайн до последнего пытался нас вытащить, но 18 мая нам, с третьей партией заключенных, велели приготовиться к отъезду и явиться в Hamburger Kaserne с вещами и номерами. Пока юденрат подводил заявленные 2500 человек, нас укрыли в комнате, выходившей окнами на поезд, что стоял на станции и ждал отправления. В нас теплилась надежда, что если план будет выполнен, то эсэсовцы милосердно забудут о нас, и весь день мы наблюдали, как в поезд, заполняя один вагон для скота за другим, загружают людей, а потом запирают и опечатывают двери. В 5:45 заполнили последний вагон.

Затаив дыхание, мы надеялись, что поезд сейчас тронется, но тут услышали в коридоре шум и отчетливые крики.

Дверь распахнулась.

– Это еще кто?

– Они проходят по специальным приказам Kommandant, – ответил доктор Мурмельстайн, – только женщины и ребенок.

– Ты что, за идиота меня держишь? Raus! Raus!<sup>22</sup> В поезд, быстро! Saujuden.<sup>23</sup>

Они открыли последний вагон и буквально закинули в него сначала нас, а следом и наши пожитки. Двери захлопнулись, и поезд отправился, унося 2504 человека.

---

<sup>22</sup> «Пошли! пошли!» (нем.)

<sup>23</sup> «Еврейские свиньи» (нем.)

## Глава 15

Внутри было темно. Понадобилось какое-то время для того, чтобы глаза привыкли и я начала различать очертания людей. Было так тесно, что пришлось сидеть, притянув ноги к груди. В нашем вагоне ехали заключенные из барачков для стариков, и многие из них были больны и очень напуганы.

Мы вчетвером сжались у двери, там же, где упали, и тихо плакали. Терезин не был раем на земле, но в тот момент нам казалось иначе. Мне было тяжелее всех, потому что я чувствовала, что их депортация лежит на моей совести. Мне было ужасно жаль всех нас, но больше всего я жалела малыша, сжавшегося у матери на руках.

То были мои последние в жизни полные отчаяния слезы, хотя на протяжении войны я часто плакала. По краям вагона были решетчатые окна, а в углу стояли два ведра. Одно – туалет, а во втором была вода. Для восьмидесяти двух собранных вместе человек они оба были слишком малы. Через пару часов мы попытались упорядочить царивший вокруг нас хаос.

На рассвете поезд ненадолго остановился. Дверь слегка приоткрылась и содержимое одного ведра выплеснуло на рельсы, а второе охранники вновь наполнили водой. Затем были еще две остановки, но зловоние, жажда и стоны стали почти невыносимыми. Я думала о родителях. Они тоже прошли через все это. Но потом я вспомнила, что кто-то из *Transportleitung*<sup>24</sup> рассказывал, что их везли на пассажирском поезде, и им даже достались места у окна. Это немного успокоило меня, и, что бы ни ждало меня впереди, я заранее смирилась с этим.

Поздним вечером следующего дня поезд остановился на платформе с огромными буквами АУШВИЦ. Тогда это название ничего для меня не значило. Я поняла лишь то, что мы в Польше, потому что вторая половина надписи гласила: ОСВЕНЦИМ. Прежде чем двери открылись, я услышала вопли на немецком и польском языках. Брань становилась все громче, а когда двери вагона открылись, я увидела множество странных, толпящихся на острые рельсов созданий в полосатых сине-серых пижамах и с обритыми головами, которые шумели не меньше немцев.

Нас спешно выгнали из вагонов, оставив только одежду и то, что было в карманах. Все узелки остались в вагоне, нас же оттеснили в длинную колонну и погнали по грунтовой дороге. С обеих сторон тянулся двойной ряд колючей проволоки, на которой через равные промежутки висели таблички с надписью Achtung Hochspannung<sup>25</sup>. Эта жуткая сцена освещалась лучами прожекторов сторожевых вышек, стоявших через каждые сто метров. За проволокой виднелись темные строения. Собаки и эсэсовцы были повсюду.

В темноте, стараясь не попадаться на глаза эсэсовцам, то и дело мелькали полосатые фигуры. Примерно на середине пути одно из этих существ, несущее закрытые носилки с трупом, материализовалось рядом со мной и промолвило: «Nazdar!»<sup>26</sup> Я с ужасом узнала Томми, нашего друга, который покинул Терезин в декабре. Он постарел и выглядел голодным. Томми быстро объяснил, что у нас заберут все ценные вещи, и Гонза, бывший сосед Джо, просит его передать мне, чтобы я сейчас отдала ему все, что хочу сберечь, а он тайно пронесет это в лагерь. У меня было мало вещей: пара наручных часов, перьевая ручка, зубная щетка, расческа и чулки. Я засунула это к трупу под простыню и Томми, никем незамеченный, растворился в темноте.

Нас отделили от мужчин и привели в огромный, похожий на конюшню барак, где заставили встать в шеренгу перед столами, за которыми сидели регистрировавшие нас заключенные

---

<sup>24</sup> «Транспортного управления» (нем.)

<sup>25</sup> «Осторожно! Высокое напряжение!» (нем.)

<sup>26</sup> «Привет!» (чеш.)

польки в полосатой униформе. Эсэсовцы ушли, и вскоре появился Гонза и отвел меня в конец комнаты. Он сказал, что регистрация займет несколько часов, а я пока что могу посидеть и поесть. Он объяснил, что мы находимся в Биркенау и что это часть концентрационного лагеря Освенцим. Здесь, в так называемом «семейном лагере», в одном корпусе содержат мужчин и женщин из Чехии.

Он сказал, что первым делом меня ждет карантинная обработка. Это означало регистрацию, татуировку, распределение на работу, личный досмотр и общее запугивание. Остальным заключенным временно запрещалось общаться с нами. Только Гонза мог присутствовать на этой процедуре, потому что он стал *старостой*, или, как их здесь называли, *капо* барака, в котором жили дети. Только там выдавали более-менее нормальную еду, поэтому он мог накормить меня. Он уже слышал об аресте Джо от ребят, которые прибыли на предыдущих поездах, и поэтому ждал меня.

Гонза отныне стал моим ангелом-хранителем. Это он послал Томми и посоветовал сохранить часы на случай, если я заболею и мне понадобятся лекарства. Он считал детский барак самым безопасным местом в лагере, вот только почему – осталось для меня загадкой. Его помощник был мужем бывшей ученицы моей мамы. Он подошел к нам, осмотрел меня и небрежно заметил, что мне не позволят оставить сапоги для верховой езды, в которых я приехала, и предложил их спрятать.

Я не заметила знака, который глазами подал мне Гонза, и согласилась. У него был довольно маленький для мужчины размер ноги, и обмен состоялся. Было очевидно, что мои сапоги ему малы, а я выскальзывала из его ботинок, но в тот момент мне и правда было все равно. Да и к тому же он обещал, что мы поменяемся обратно, когда минует опасность.

В ту долгую первую ночь я научилась держаться подальше от польских заключенных, которые ненавидели евреев так же люто, как и нацисты, а порой и намного сильнее. Все заключенные должны были носить нарукавные повязки с разноцветными знаками, которые обозначали их категорию: *еврей*, *политический заключенный* или *уголовник*. Иногда эти категории пересекались. Например, среди политических заключенных встречались евреи. В основном это были коммунисты, социалисты или сторонники оппозиции со всей Европы. Некоторые из них еще до Освенцима отсидели в тюрьмах от пяти до восьми лет.

Без сомнения, самыми могущественными из всех, в основном потому, что они попали в Освенцим сразу после его основания в 1941 году, были поляки. Из-за своей природной склонности к антисемитизму они частенько становились «ушами» немцев и извлекали из этого максимальную для себя выгоду. Многих из них арестовали в индивидуальном порядке за преступление или в качестве профилактической меры.

*Уголовники* полностью оправдывали свое название: ничем не отличались от любых других преступников, а многие отбывали пожизненное наказание. Благодаря долгому сроку пребывания здесь, многие уже были *капо* и работали в канторах других частей концлагеря, а следовательно, имели доступ к информации не только по Биркенау. Как правило, большинство из них находили общий язык с эсэсовцами. Может, имело место родство душ? На нижней ступени иерархии были евреи и цыгане. Нас не считали политзаключенными, хотя я считаю, что именно ими мы и были.

Очереди к столам медленно таяли. Лекция закончилась. Гонзе нужно было немного поспать, и я вернулась в свою очередь. Секретари, регистрировавшие нас заключенные польки устали, и враждебности и властности у них поубавилось. Я предоставила личные данные, и мне быстро и безболезненно сделали татуировку на левом предплечье. Как и многие пожилые женщины, которые оказались в конце очереди, я попала в блок № 12. Это встревожило меня, но в итоге обернулось удачей.

*Капо* блока № 12 оказалась моей подругой из Терезина Ниной. Там она была поваром, а я сшила для нее несколько вещей. Она встретила меня с распростертыми объятиями и сразу же

начала выделять меня среди других. Она определила мне верхнюю полку у небольшого окна, время от времени украдкой подсовывала кусочек хлеба или салами и следила за тем, чтобы суп мне наливали со дна бочки. Нина осталась от партии заключенных, которых депортировали в лагерь в сентябре 1943-го. Ее положение здесь было довольно прочным главным образом потому, что она была невероятно красива – голубые глаза и длинные светлые волосы. А еще потому, что в нее был по уши влюблен немецкий уголовник, *капо*. Поэтому она удерживала рядом с собой мать, питалась лучше, но и наш блок подвергался меньшим унижениям.

На рассвете появился странный маленький человечек с буквами КП (криминальная полиция) на повязке и принялся ходить туда-сюда вдоль длинной кирпичной горизонтальной трубы, что тянулась вдоль всего барака. Он был таким же евреем, как и все мы, но наделен чрезмерным чувством собственной значимости – прекрасная карикатура на эсэсовцев. Вот только он не пытался казаться смешным. Он просто стал таким же, как его хозяева.

Маленький человечек прочел нам основательную лекцию о том, что можно и чего нельзя делать в лагере, угрожая огнем и мечом. Он очень доходчиво объяснил, что с вещами мы должны попрощаться. Пальто длиннее полуметра? *Verboten*. Как и запасные чулки, украшения, обувь и, конечно же, деньги. Он предупредил, что нас будут обыскивать снова и снова, а несоблюдение правил повлечет за собой серьезное наказание.

Если бы не шок и усталость, то я бы рассмеялась во время этого невероятного представления. И когда он ушел, я вдоволь нахохоталась. Я достала из кармана припасенные маникюрные ножницы и принялась укорачивать свое прекрасное верблюжье пальто. Последнее, что осталось от нашей весенней коллекции 1939 года, копия Марселя Роше. Несколько часов ушло на то, чтобы распороть плотный материал, а потом подшить остаток нитками, которые я вытаскивала из швов.

Как только я закончила, этот клоун из Крипо вернулся в сопровождении нескольких помощников, и начался обыск. Дымоход был забит пальто. Кольца, перьевые ручки, помады и даже пуговицы складывались в отдельный мешок. Когда они подошли ко мне, я только пожала плечами.

«А как же обручальное кольцо? – прорычал Крипо. – Ты кем себя возомнила? Особенная, что ли?»

В пылу спасения пальто я совсем забыла про кольцо. Я медленно сняла его и бросила в сумку.

## Глава 16

Китти примчалась ко мне в барак, как только отменили карантин:

– Зачем ты приехала? Дурочка, ты что, не знаешь, что к 20 июня нас всех сожгут? Нужно было бежать, как только они арестовали Джо. Мы, декабрьские, живы только потому, что этим ублюдкам для их затей нужно красивое круглое число, а после марта нас осталось немного. Ты не знала, что в честь Дня рождения Масарика они отправили в печь 3750 молодых заключенных? Им на смену пришли те, кого доставили в марте. Здесь никто не выживает. Максимум шесть месяцев, а потом – все. Зачем же ты приехала?

Я была уверена, что она сошла с ума. Это была уже не та подруга, которую я знала всю жизнь, та общительная девушка с прекрасными темными глазами, которые улыбались даже тогда, когда она была серьезной. Теперь же они ни секунду не останавливались. Пока Китти выдавала мне всю эту лишнюю логику чепуху, ее взгляд непрестанно блуждал. Почему же Гонза не рассказал мне о том, что здесь происходит?

В этот момент меня охватило странное ощущение. Я уставилась на свою татуированную руку, и, словно плохо сфокусированная фотография, она медленно раздвоилась. Но татуировка была только на одной руке. Я попыталась сфокусироваться, но нас по-прежнему было двое. Я и А-4116. И я подумала: что эта бедолага здесь делает? Я же знаю ее. И мне ее жаль. Я буду присматривать за ней. Она так похожа на меня. – Послушай, я по глазам вижу, что ты мне не веришь, – сказала Китти, – пойдем, я покажу тебе кое-что.

А-4116 слезла с верхней полки и пошла за Китти по лагерю. Там, в отдалении, Китти указала ей на группу дымоходов, из которых валил дым, и впервые с момента прибытия она ощутила в воздухе странный запах, похожий на горящие кости и волосы.

А-4116 по-прежнему с недоверием сказала:

– Но ведь это невозможно. Откуда ты знаешь? Лагерь большой, может, они просто сжигают тела тех, кто умер своей смертью. Ты же знаешь, как немцы заиклены на чистоте. Кроме того, крематорию хватает работы с больными и стариками, которых в лагере полно.

– Ну конечно, а как ты объяснишь, что за одну ночь бесследно исчезли 3750 человек?

– Их могли депортировать. На дворе 1944 год. Существуют международные законы. Им ни за что бы не сошло с рук столь массовое убийство. И не забывай, что за этими стенами все еще есть мир, который может сделать с немецкими военнопленными то же самое.

– Черт, какая же ты наивная. Миру наплевать, что тут с нами делают – увидь они все это, и то не поверят. Прямо как ты. А твоя капо Нина. Почему, как ты думаешь, она и ее мать остались живы? Ее ухажер прошел через все круги ада, чтобы упрятать их в тифозном блоке, потому что ОН знал, что готовится, и знал, что тифозный блок не тронут. Они твои соседи. Иди и спроси ее.

Две девушки ходили по лагерной дороге и то и дело останавливались, чтобы поприветствовать старых друзей. А-4116 заметила, как сильно они изменились за два месяца после отъезда из Терезина. Исхудавшие, в своей одежде и обуви они напоминали статистов из постановки «Оперы нищих». Казалось, каждый сжимает в руках какой-то сверток и куда-то торопится. Поскольку мужчинам и женщинам позволялось видеть друг друга только в это время дня, дорога была заполнена людьми. По обе ее стороны стояли семь барачков, а между ними затесалось отхожее место для женщин. Биркенау представлял собой четырехугольник, окруженный двойным рядом колючей проволоки под высоким напряжением. На одном конце стояли ворота с огромной надписью «ARBEIT MACHT FREI»<sup>27</sup>. За воротами

<sup>27</sup> «Работа освобождает» (нем.)

дежурили эсэсовцы. С другого конца виднелась сортировочная станция. По обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись единообразные гигантские клетки.

Прозвучал *Appell*<sup>28</sup>, и всем надлежало вернуться в свои бараки. Это была стандартная процедура, проводившаяся дважды в день. Она длилась от одного до трех часов, в зависимости от того, как быстро появлялся дежурный офицер. Обитатели каждого барака выстраивались на улице в ровные ряды по пять человек, а завидев офицера СС, вытягивались по стойке смирно. Капо докладывал о том, сколько человек присутствует, сколько больных и сколько умерло. Эсэсовец входил в барак, проверял сведения и пересчитывал оставшихся заключенных. А-4116 с отстраненным интересом наблюдала за происходящим и забавлялась отчаянными попытками капо и двух ее помощников, заместителя и писца, сохранять порядок в рядах – задача не из легких, особенно учитывая, что они имеют дело с людьми, не обученными военной дисциплине.

Когда ей шепнули, что в случае беспорядка ответственность ляжет на капо и весь лагерь будет стоять, пока все не приведут себя в надлежащий вид, сцена перестала казаться ей забавной. Капо тринадцатого блока, что находился прямо через дорогу, в пылу усердия приводил своих подопечных в строевой порядок при помощи кулаков и пощечин еще до прибытия офицера.

Она узнала его – это был Рихард, ее приятель по Терезину. Что с ним произошло? Она знала, что он был довольно суров, в команде играл за нападающего и был не очень разборчив в словах и выражениях. Но сейчас Рихард уже не контролировал жестокость. Она спрашивала себя, как он теперь относится к ее хорошей знакомой из Терезина, в которую когда-то был влюблен.

*Appell* закончился, и настало время пайка. Суп и небольшой кусок хлеба, чтобы продержаться следующие сутки. Кто-то сразу съедал его целиком, а кто-то аккуратно делил на три части и прятал остаток в небольшой сверток под соломенным матрасом. Темнело быстро. Свет погасили. День подошел к концу.

А-4116 лежала на койке с широко открытыми глазами и, несмотря на то, что не спала уже почти трое суток, заснуть она не могла. Образы сменяли друг друга как в каком-то безумном фильме. Дымоходы, люди в обносках, глаза Китти, дымоходы, вежливая улыбка Гонзы, дымоходы, Рихард бьет какого-то старика и кричит на него, колючая проволока, немецкие овчарки, дымоходы, Нина, лицо мамы, папа – где они теперь? – пока все это не превратилось в раскручивающийся перед ней пылающий огненный шар. Казалось, будто издали до нее доносится мамин голос: «Ты должна выжить».

– Я выживу, – вслух сказала она. – Я выживу.

---

<sup>28</sup> «Сигнал на построение» (нем.)

## Глава 17

Как и следовало ожидать, А-4116 отправили на работу в швейный цех. Судя по униформе, которую присылали в починку, война для немцев шла не лучшим образом. В Терезине были лишь оторванные пуговицы и подкладки, а в Биркенау – зияющие дыры, которые требовалось залатать, и темные пятна, которые могли быть только следами крови. И все же униформу чинили для дальнейшего использования.

Эта работа отвлекала А-4116 от пустого желудка. По вечерам она порой выходила на прогулку вместе с Китти, чтобы в детском блоке, в котором жила Гиза, повидаться с Гонзой. Дети обожали его, вероятно, инстинктивно чувствуя присущую ему доброту. Мать Гонзы души в нем не чаяла, и это было взаимно, ведь отец Гонзы умер, когда он был еще совсем маленьким. Здесь, как и в Терезине, они всегда ходили рука об руку, и, несмотря на то, что Гонза был одним из самых красивых и завидных холостяков в лагере, ни одна девушка не смела приблизиться к нему. На самом деле он приехал в Освенцим добровольно, вслед за матерью. Он был одним из немногих, у кого лагерь не отнял душу.

А-4116 спросила его:

– Почему в ночь приезда ты не рассказал мне о дымоходах?

– И что бы это изменило? Было ясно, что вскоре ты и сама все узнаешь. Кроме того, я уверен, что мы выживем. Бог знает почему, у меня нет рационального объяснения, но я верю, что в этот раз все будет по-другому. Возможно, будет восстание. Может, мы спалим это место, но я уверяю тебя, что никто больше покорно не пойдет в газовую камеру, распевая гимн, как это было в марте. Мы слишком молоды, чтобы сдаваться и умирать без боя, и до этого проклятого срока мы что-нибудь придумаем. Просто помалкивай и будь начеку. Вокруг полно шпионов. Не доверяй никому, даже тем, кого давно знаешь. Здесь люди меняются.

Задумавшись, А-4116 вышла на солнечный свет и направилась к блоку Китти.

– Ты только посмотри, кто идет. Nazdar!

Напротив А-4116 возникли, улыбаясь, двое молодых людей, с которыми она танцевала в Праге еще девочкой. Один из них когда-то работал продавцом в магазине ткани.

– Все так же хорошо одета, – сказал Вилли.

– Да и муж как раз в отъезде, – вставил Марко.

– Как вам наша милая деревушка?

– Спорим, если бы я был таким же умным, как ты, то ни за что не дал бы крипо обчистить меня. Что тебе удалось сохранить?

– Не так уж и много. Так, пару наручных часов, но я не собираюсь их продавать, если вы за этим.

– Если ты прячешь их под матрасом, то не долго им осталось там лежать, – сказал Марко, – рано или поздно они их найдут.

– Не беспокойтесь обо мне. Они хорошо спрятаны, и я жизнью клянусь, что уж ВАМ-то я точно не расскажу где. До встречи.

А-4116 продолжила путь в четвертый блок, где капо была Сильва, одна из пражских красавиц. Она всегда была страшно глупой и избалованной девчонкой, и теперь Сильвия относилась к своим обязанностям серьезно и управляла блоком, словно большим герцогством, а с заключенными обращалась как с верноподданными. Как ни странно, многие, казалось, подыгрывали ей.

Ее рыцарем и любовником был Хайни, капо из другой части Освенцима, который регулярно привозил в Биркенау продукты. Он был преступником, родом из Гамбурга и отбывал 99 лет за вооруженное нападение. Если забыть об этой стороне его личности, он был добрейшей

души человек. Любимец эсэсовцев, он частенько бывал на их попойках. Обладая врожденным талантом дипломата, он вытягивал из них планы и намерения относительно Биркенау.

Хайни был одним из тех, кто рассказывал не только о лагерных делах, но и о событиях на фронте. К счастью, он дружил с некоторыми заключенными-мужчинами, потому что его известия в пересказе Сильвы часто искажались до неузнаваемости.

Китти предложила А-4116 поговорить с Сильвой о переезде в ее блок, но, пробыв там десять минут, она тактично отказалась, решив остаться в двенадцатом блоке с Ниной и старушками. Конечно, там ей будет довольно одиноко, но все лучше, чем стать еще одной фрейлиной при этом нелепом дворе.

Любопытным в Биркенау был и выбор *капо*. Ими становились молодые заключенные. Поговаривали, что эсэсовцы предпочитали иметь дело с людьми с красивыми лицами и хорошими фигурами. Особенно женскими. При выборе мужчин обращали внимание на их умение играть в футбол. Эсэсовцы любили смотреть матчи, особенно когда ленились играть сами или были слишком пьяны. В *крипо* после пристального наблюдения отбирали только самых надежных.

Отхожее место тоже стоит того, чтобы о нем упомянуть. Это было лагерным местом встреч, особенно в скверную погоду и рабочие часы. Просто яма, огороженная с каждой стороны досками четыре на четыре, одна – для мужчин и одна – для женщин. Перегородки между ними не было. Чтобы не упасть, нужно было обладать неплохим чувством равновесия. Постепенно мы научились узнавать друзей по голым задкам. О туалетной, да и любой другой бумаге оставалось только вспоминать. Рядом с досками стояли жестяные раковины с водопроводными кранами – вот и все санитарные удобства для десяти тысяч заключенных. Вода из раковин стекала в канаву. Все это представляло собой очень эффективное устройство.

Однажды ночью, все еще желая узнать как можно больше о мартовских событиях, А-4116 пришла к Нине:

– Как так получилось, что ты и еще несколько человек из декабрьских ссыльных все еще здесь?

– А ты разве не знаешь, что у нас с матерью был тиф? Все очень просто. И я не хочу об этом говорить. О чем ты еще хотела спросить?

– Почему в Биркенау голова обрита лишь у одной женщины, а в других лагерях – у всех?

– В Освенциме все, кроме *капо* и заключенных Биркенау, должны сбривать волосы. Но Сара, *капо* второго блока, – это особый случай. Забавно, если ты еще в состоянии посмеяться над тем, что с ней произошло. Ты же знаешь, как здесь трудно уединиться с женщиной, даже если ты – *капо*. Ну, Сара с мужем и решили, что кухня послужит отличным прибежищем для занятий любовью после утреннего *appell*. И все было прекрасно, пока один эсэсовец не решил устроить внезапную проверку кухни. Ее муж хромал еще несколько недель, а ей пришлось сбрить волосы. Но ты поймешь, что, когда дело доходит до собственных развлечений, немцы очень изобретательны. Возьмем детей. Мальчиков двенадцати-пятнадцати лет. Это катастрофа, если они симпатичные. Ни один расовый закон Гитлера не запрещает им держать мальчиков в своих казармах, кормить их там всякими сладостями и разрешать делать с другими заключенными все, что им вздумается. Главное, чтобы мальчики были голубоглазыми блондинами. А когда эсэсовцы наиграются с ними, то вешают или расстреливают ради удовольствия, но чаще всего просто отправляют в мужской барак, где с ними невозможно справиться. Эдди, брат Сильвы, – «петушок», так называют этих мальчиков.

Уже поздно. Есть хочешь? Возьми кусочек салами, но чтоб никто не видел. Иди спать. Иди.

## Глава 18

На другое утро, еще до перерыва на суп, в мастерской появился Эдди. Он встал перед А-4116 и сказал:

– Тебя вызывает *крипо* Шлесингер. Пошевеливайся.

Прибыв на место, А-4116 обнаружила растянувшегося за столом клоуна в полосатой робе.

– Думаешь, сможешь перехитрить меня? Где те швейцарские часы? Ты хоть понимаешь, что прятать ценности от властей – незаконно. Понимаешь?

– Конечно, понимаю, и я ничего не прячу. Если вы мне не верите, то почему бы вам не отправить кого-нибудь осмотреть мою койку? Или общите меня прямо сейчас.

– Ты лгунья и сама это прекрасно знаешь, но я тебя проучу. Для начала мы сбреем тебе волосы, и, может быть, ты вспомнишь правду!

Чем дальше он выкрикивал угрозы, тем больше краснела его бритая голова. Но тут дверь отворилась, и в комнату вошли Вилли и Марко, ее бывшие танцевальные партнеры. В руках у них были украшения, которые они нашли у одной старушки из блока Нины, куда их отправили искать сокровища А-4116. Между ними разгорелся спор о том, как они разделят награбленное. Осознав, что о ней все забыли, А-4116 выскользнула за дверь и вернулась в мастерскую, радостно поглаживая свои локоны. Оставалось только надеяться, что голова Шлесингера остынет, и он оставит ее в покое.

После этого происшествия А-4116 закрылась в собственном, населенном людьми из прошлого, мирке и принялась вынашивать дикие фантазии о побеге. Из-за этой отстраненности она снискала репутацию высокомерной особы.

В часы перед отбоем А-4116 разрабатывала тщательный план побега: ей нужно раздобыть кусачки с изоляцией, проделать дыру в колючей проволоке, добраться до железной дороги, спрятаться под вагоном для скота и дожидаться отбытия поезда. Если уж Графу Монте-Кристо удалось сбежать с проклятого острова, то и она вырвется отсюда.

Утро приносило осознание несбыточности этих мечтаний.

По ночам А-4116 вновь и вновь прокручивала в голове фантазии о платонической любви, которая была у нее в 17 лет и закончилась эмиграцией молодого человека. Теперь же А-4116 представляла себе сцены страсти, которых никогда не было, чувствовала прикосновение его рук, даже ощущала его запах. Как ни странно, ее муж никогда не появлялся в этих сексуальных фантазиях, хотя А-4116 очень скучала по Джо. Будь он здесь, такие хулиганы, как Марко и Вилли, не посмели бы подойти к ней.

Еще А-4116 начала замечать, что уже почти не в состоянии испытывать тревогу или жалость к окружавшим ее старухам, а их порой наивные вопросы раздражали ее все больше и больше. Теперь, если кто-то предлагал А-4116 помочь или просил ее об этом, она постоянно искала подвох. Отныне она доверяла только Китти, Гонзе, Гизе и тете Гелле, двоюродной сестре мамы, которую она встретила во втором блоке.

Но даже им она никогда не открывалась до конца. Причины в каждом случае были разные. Время от времени А-4116 навещала их, но, уходя, чувствовала себя еще более одинокой.

Есть хотелось почти все время, но из страха, что ее сочтут попрошайкой, она не часто ходила к Гонзе, хотя он был одним из немногих людей в лагере, кто никогда ничего не просил и уж тем более не ждал ничего взамен. Флирт, поцелуи и объятия давно стали здесь разменной монетой в борьбе за еду. А-4116 никого не осуждала, просто чувствовала, что пала еще не столь низко.

Она всегда любила тетю Геллу, но она была так похожа на Mutti, что ее постоянное присутствие было невыносимо. А-4116 всеми силами избегала ее исполненного благими намерениями интереса и заботы.

Она знала, что сейчас нужна Гизе больше, чем когда-либо, но часто не могла придумать, о чем поговорить с ребенком. Должно быть, Гиза это чувствовала, потому что они все реже гуляли вместе.

В глазах А-4116 даже Китти со своим страхом, который граничил с паранойей, стала другим человеком. Китти окружали пражские знакомые из свиты Сильвы, с которыми в прежние времена она не хотела иметь ничего общего, а теперь порой искала их общества.

Май сменился июнем, и атмосфера в лагере день ото дня становилась все более напряженной и враждебной. Эсэсовцы с новой силой предавались своему любимому развлечению: около сотни заключенных были обречены заниматься физподготовкой. Их заставляли отжиматься, приседать и бегать на месте до тех пор, пока хотя бы половина из них не падала от изнеможения. Каждый упавший раззадоривал эсэсовцев еще сильнее, доказывая их теорию о неполноценности еврейской расы.

Лагерь ждал сигнала: им должна была стать раздача открыток для друзей и родственников, оставшихся в Терезине. Так было в марте, когда осужденным на смерть было велено написать, что они здоровы и продолжают трудиться. На открытках стояла дата – 25 марта, тогда как уже 7-го людей не стало. Поскольку мартовская *aktion*<sup>29</sup> была проведена через шесть месяцев после прибытия сентябрьских эшелонов с пленными, то путем простейших вычислений выходило, что очередь декабрьских ссыльных настанет в июне. Обе партии заключенных имели пометку «Rückkehr Unerwünscht»<sup>30</sup>. Большинство майских пленных были настроены оптимистично, ведь они не пережили мартовскую катастрофу, а массовая истерия еще не овладела ими за те несколько недель, что они провели в Освенциме. Сама мысль об этом казалась им абсурдной, несмотря на все доказательства обратного.

Тревога достигла пика, когда 10 июня 1944 года раздали открытки. Вместо обратного адреса заключенные должны были написать «Биркенау», имя и дату рождения. Сообщить что-то важное столь малым количеством слов было невозможно, и, вероятно, даже заранее подготовленные условные послания в гетто истолковали бы неверно. Даже если до родных и дошли слухи об Освенциме, название «Биркенау» им ни о чем не говорило.

А-4116 договорилась с друзьями, что напишет ровно противоположное тому, что будет иметь в виду, поэтому ее послание звучало так: «У меня все хорошо. Жаль, что вас нет рядом. Учитывая будущее, которое ожидает людей Терезина, эти послания абсолютно напрасны».

А в Биркенау тем временем полным ходом шла подготовка к восстанию. Воздух был пропитан яростью и жадной борьбой. Через неделю после того, как из Терезина пришли мешки с ответами, а всему лагерю было велено написать новые открытки – от 2 июня, один из заключенных, отличный спортсмен и лидер готовящегося восстания среди молодежи, не выдержал и бросился на железную проволоку, по которой был пущен электрический ток.

18 июня грабитель Хайни принес ошеломительные новости: отношение к евреям в ближайшее время сильно изменится. Он сказал, что приказ пришел из Берлина, от самого Геринга. Отныне вместо того, чтобы убивать евреев, которые еще способны к труду, их будут посылать туда, где требуется рабочая сила, и позволят природе довершить начатое эсэсовцами.

Хайни умолял всех успокоиться: в ближайшие дни будет проведен отбор среди заключенных в возрасте от 15 до 40 лет и подходящих отправят в трудовые лагеря. Он предупредил, что это не коснется женщин с детьми, стариков и тех, кому нет 15 лет, но настаивал, что это лучше, чем бунт. Шансов на успех все равно нет, и весь лагерь просто уничтожат. Понятно, что

---

<sup>29</sup> «Акция» (нем.)

<sup>30</sup> «Возвращение нежелательно» (нем.)

он был в восторге от того, что его любимая Сильва будет спасена. Наверняка он уже решил, что в том случае, если русские подойдут достаточно близко, он сбежит, затем найдет ее и женится. Но возникали сложности с тем, чтобы спасти и ее 44-летнюю мать.

Все это звучало слишком уж хорошо, чтобы быть правдой, но 20 июня 1944 года детский блок подготовили для отбора мужчин. Прибыл доктор Менгеле<sup>31</sup>, главный врач СС, и с улыбкой выбрал для своих забав нескольких детей. После этого начался отбор самых сильных и здоровых. Он затянулся на весь день, а когда закончился, отобранных мужчин незамедлительно отправили за территорию лагеря. Наступили часы тревожного ожидания. Пессимисты продолжили утверждать, что все было затеяно лишь для того, чтобы убрать всех сильных и крепких, потому что информация о готовящемся бунте дошла до немцев.

Жены и матери дни напролет по очереди наблюдали за открытой частью вокзала, чтобы убедиться, что их мужчин действительно посадят в поезда.

Когда 1 июля на вокзале появилась большая группа заключенных с обритыми головами и в новых серых робах, уже начало казаться, что пессимисты были правы. Маленькая девочка, которую оставили у забора наблюдать, дала сигнал, и половина женщин лагеря подбежала к забору из проволоки на небезопасное расстояние, чтобы посмотреть, действительно ли это их мужчины. Разглядеть лица с такого расстояния было невозможно, но заключенные, бросив взгляд в сторону лагеря, принялись махать нам и посылать воздушные поцелуи. Со слезами на глазах женщины смотрели, как поезд заполняется людьми и уезжает.

Тем же днем, вскоре после полудня, процедуру повторили с женщинами.

Собиралась гроза. В детский блок набились 2500 женщин, а вокруг становилось все темнее и темнее. В пугающем молчании они столпились в одной части барака, а напротив них, скрестив руки на увешанной крестами груди, в начищенных черных сапогах для верховой езды стоял доктор Менгеле со своими помощниками и писцами.

Кто-то отдал приказ раздеться и перевесить одежду через левую руку. Начался парад гуськом. Оказавшись перед врачом, каждая женщина должна была встать по стойке смирно и ответить на несколько вопросов. После этого Менгеле коротким движением большого пальца указывал ей пойти направо или налево. Вскоре картина прояснилась: группу слева ждал крематорий, в нее попадали слабые, старые, женщины в очках и со шрамами. Гроза бушевала прямо над нами. Гремел гром, сверкали молнии, 2500 обнаженных женщин стояли перед двенадцатью обутыми немцами в зеленой униформе – все это походило на безумную фантазию художника-сюрреалиста.

- Номер?
- А-4116.
- Возраст?
- 24 года.
- Замужем?
- Да.
- Дети есть?
- Да.
- Профессия?
- Электрик.
- Как? Электрик? Это правда?
- Да.
- ТЫ знаешь, как тянуть провода и все в таком духе?

---

<sup>31</sup> Йозеф Менгеле (1911–1979) – немецкий врач, проводивший в Освенциме бесчеловечные опыты над заключенными. Стал известен как «Ангел смерти Освенцима». После поражения нацистов во Второй мировой войне бежал в Аргентину и избежал наказания за свои преступления.

– Да.

– Направо, и отметьте это, – приказал он писцу.

Счастливая оттого, что они с Китти, которая уже прошла отбор, оказались вместе, А-4116 оделась. Девушки столпились вокруг нее, чтобы узнать, почему сбился четкий ритм процедуры. А-4116 шепотом объяснила им, что мысль назваться электриком пришла к ней внезапно, когда она отчаянно пыталась придумать что-нибудь, чтобы доктор не заметил шрама от аппендицита. Это не было откровенной ложью, ведь ее отец, будучи инженером-электриком, всегда призывал ее учиться чинить неисправную проводку и домашние приборы. В любом случае завтра об этом забудут, но сегодня она добилась цели. В тот день с переменным успехом ввали много, особенно о своем возрасте и профессии. Лишь одна отрицала, что у нее есть ребенок, мальчик четырех лет, которого она родила в семнадцать, но ни у кого не хватило смелости осуждать ее за это. Даже если бы она осталась с ним до конца, то ничем не смогла бы ему помочь.

В тот вечер счастливым, которых выбрали для работ, было тяжело уходить. А-4116 первым делом навестила тетю Геллу, последнюю ниточку, связывающую ее с предыдущим поколением. Тетя была спокойна, ни капли страха перед лицом грядущей смерти. Они сидели обнявшись. Молодая молчала, просто вбирая тепло этой похожей на ее маму женщины, в то время как пожилая повторяла прощальные слова Mutti, призывая ее оставаться сильной и выжить во что бы то ни стало. Гелла просила не жалеть ее, сказала, что это единственное, чего она не вынесет, и поведала ей о прекрасной жизни, которая выпала на ее долю, и о счастливых днях, проведенных в компании Mutti. Все это звучало так до странности знакомо.

На обратном пути она повстречалась с Гизой, направлявшейся в блок № 12 с теми самыми ботинками, которые еще в Терезине ей отдала А-4116, когда девочка выросла из своих. Гиза шла босиком.

Они зашли в блок, сели на койку, и пока Гиза объясняла, что принесла эти ботинки потому, что они намного лучше тех, в которых теперь после глупого обмена сапогами приходится ходить А-4116, они держались за руки.

– Они же мне больше не понадобятся, да? – спросила Гиза.

Что можно было ответить ребенку, который, несмотря на все старания взрослых скрыть от нее истинное положение дел, понимал все слишком хорошо. У правителей был лозунг: «Концентрационный лагерь – не детский сад». Гизе было тринадцать, но из-за недостаточного физического развития она не могла притвориться пятнадцатилетней, а потому не имела даже права участвовать в отборе. Несколько ее ровесниц, а также около десяти женщин за сорок, но выглядящих моложе, ускользнули из сетей эсэсовцев.

Прощальные слова были сказаны, и в ту ночь на сердцах у тех, кому предстояло уйти, было тяжелее, чем у людей, которых они покидали навсегда. Гроза прекратилась, и все стихло.

## Глава 19

На следующее утро до *appell* отобранных женщин по номерам и именам вызвали из барак. Быстрым маршем они прошли два километра до огромного огороженного места с надписью «Konzentrationslager A I Frauenlager»<sup>32</sup>

Этот лагерь был больше и многолюднее Биркенау. Бараки каменные. Дороги получше и, хотя их основой была все та же глина цвета охры, здесь их выложили грубыми булыжниками. Вместо охранников-мужчин в глаза бросались женщины-эсэсовцы. Заключенные здесь носили рваные полосатые робы и вообще выглядели куда изможденнее, чем девушки из Биркенау. Исключения составляли капо и их помощницы, которые выглядели аккуратными и сытыми. Они забирали длинные волосы в конские хвосты с черными бантами.

То же самое можно было сказать и о молоденьких контрабандистках, которые очень походили на «петушков» из Биркенау. Глядя на них, невозможно было отделаться от ассоциаций с пекинесами или пуделями.

Многие заключенные были побриты налысо, или же их волосы только начинали отрастать.

Казалось, ходьба здесь была запрещена, потому что все двигались перебежками.

Заключенных разделили на группы по пятьсот человек и загнали в низкие бараки с крошечными окнами, напоминавшими русские избы. Внутри вместо коек к стенам были приделаны полки, глубиной примерно полтора метра. Подобная конструкция тянулась через все помещение по центру. Ни тюфяков, ни одеял, ни соломы. С потоком проклятий и тычков польские капо загнали их в эти странные, похожие на клетки, сооружения и строго приказали сидеть там.

Казалось, разговаривать обычным тоном капо были просто неспособны, а уж о том, чтобы обратиться к ним или спросить о чем-то, и речи быть не могло. Каждый их выкрик начинался с оскорбления:

– Вы, чешские шлюхи, считаете себя особенными! Или вы, грязные еврейские потаскухи, которые заслужили лишь право утонуть в собственном дерьме! Мы покажем вам, что такое Освенцим! Ничего вы еще не видели.

Они говорили по-польски – владели им единицы, но смысл был ясен всем.

Прошло совсем немного времени, прежде чем заключенных выгнали на *appell*. По непонятным тогда причинам нескольких человек вызвали по номерам и увели. Среди них были близнецы, которых доставили к доктору Менгелю, проводившему в лагерном лазарете свои эксперименты, медсестры и некоторые другие заключенные, которым тоже было суждено остаться в «АI».

Женщины из СС приходили и уходили, осматривая стоящие по стойке смирно ряды заключенных. Говорить было запрещено. Охранник из СС заметила, как одна девушка шептала что-то своей соседке. Эту девушку заставили встать на колени на каменистую землю, подняли ее руки над головой и вложили в них по тяжелому камню. Каждый раз, когда они немного опускались, охранник или капо орала на нее, чтобы она выпрямила руки вверх. Это продолжалась несколько часов. Когда *appell* наконец-то закончился, подругам девушки пришлось подерживать ее – ноги не слушались.

Затем принесли несколько стульев и заключенным постригли волосы. Приятным сюрпризом стало то, что волосы не сбрили, а просто коротко отрезали. Это казалось хорошим знаком, ведь куда проще постричь налысо живого человека, а не мертвеца. Среди заключенных начались разговоры о том, что если бы их ждала газовая камера, то все волосы отправились бы

<sup>32</sup> «Женский концентрационный лагерь АI» (нем.)

в немецкие мастерские. Во время стрижки было много беготни и неразберихи, поэтому некоторым девушкам, в их числе оказались Китти и А-4116, удалось не только сохранить волосы, но и объединиться в группу, участницы которой поклялись держаться вместе несмотря ни на что. Даже после того, как увезли мужчин, многие не верили тому, что сказал им Хайни.

После стольких часов у всех возникла острая необходимость сходить в туалет, и несколько капо водили туда группы по десять человек. Время строго ограничивалось, а если заключенная задерживалась, то конвой тыкал ее вилкой в ягодицу. Это сопровождалось потоком брани на трех языках. Под градом любимого ругательства капо «чтоб вы сдохли от холеры!» их погнали обратно к баракам, где им пришлось отстоять еще одно долгое *appell*. Потом заключенным выдали по кружке черной жидкости, называемой кофе, ломтику хлеба и заперли в бараках.

С наступлением темноты появилась и другая напасть – клопы. Никто и никогда не видел таких огромных клопов. Размером они были с большого таракана и кусали нещадно. Людей на полках было столько, что спать можно было только на боку. Они были зажаты между соседями, как ложки. Если переворачивался один, то всему ряду из пятидесяти человек тоже приходилось переворачиваться. А-4116 всегда была лакомой добычей для насекомых, а теперь ее искусили так, что она не могла уснуть. Вопреки приказу не покидать полки, под покровом темноты она соскользнула на каменный пол, где стояла бочка, накрытая одеялом. А-4116 завернулась в него, ей стало тепло и хорошо, и она уснула. Она спала так крепко, что утром Китти и еще несколько девушек не сразу смогли ее разбудить. В той бочке был налит хлор, и одеяло пропиталось его парами.

На другой день вооруженная охрана отвела их в другую часть лагеря, где перед зданием с надписью «САУНА» уже толпились заключенные из Биркенау. Среди них началось беспокойство, ведь все знали, что под таким названием маскировались газовые камеры. Кругом цвели клумбы, и ярко-красные бегонии рядом с серым зданием без окон казались А-4116 омерзительными. Там же, на улице, прямо перед эсэсовцами им приказали раздеться и сложить одежду в одну общую кучу, а обувь – в другую.

А-4116 и Китти молча стояли, держась за руки, а вокруг них то тут, то там у людей началась истерика. По двое их медленно запускали в комнату, где перед грязным хирургическим столом стояла толстая женщина из СС в белом халате поверх униформы. Ни разу не сменив резиновые перчатки, она грубо проверила у нас каждое отверстие. Одна из девушек хотела сохранить подарок на память от любимого и зажала в кулаке пуговицы от его пальто. Но когда она поняла, что спрятать их негде, – проглотила пуговицы.

Следующим этапом обработки были душевые. Заключенных запускали группами по сто человек. Приказ был таков: одну минуту стоять под водой, затем еще за минуту намылиться куском суррогатного мыла, который выдавали на четверых, потом еще минуту давали на то, чтобы смыть его с себя, и никаких разговоров. Толпа, подталкиваемая охранниками и капо, нерешительно вошла в душевые и с невыразимым ужасом вглядывалась в насадки для душа, которые, как было известно, дают не только воду, но и газ.

Кто-то шепотом начал читать *Shm'a Israel Adonai Eloheinu*<sup>33</sup>. Казалось, прошла вечность. Затем над головой послышалось шипение: вода! Горячая вода! Раздался возглас облегчения, и происходящее вмиг превратилось в сцену из безумного балета – все старались увернуться от обжигающих струй. На выходе каждой выдали пару чистого белья, серую робу и приказали забрать обувь из кучи на улице. Но это было невозможно. Как в этой куче обуви можно было найти свою пару? Словами не описать, как нелепо это выглядело, но драк из-за того, что кто-то увидел на ком-то свои ботинки, не было.

<sup>33</sup> «Внемли, Израиль: Господь – Бог наш, Господь – один!» (*ивр.*)

Затем последовал еще один долгий *appell* и *Lagerkommandant*<sup>34</sup> прибыла с инспекцией. А-4116 стояла в первом ряду, когда женщина медленно начала осмотр. Прозвучала команда ACHTUNG<sup>35</sup>, но часть прежней дерзости уже вернулась к А-4116, она проигнорировала приказ и не вынула руки из карманов.

Kommandant остановилась перед ней.

– Руки из карманов, еврейская сука!

Незамедлительно последовал удар тыльной стороной руки, на которой было несколько колец. Заключенная попыталась схватить ее за горло, но Китти и еще одна девушка вовремя схватили ее за локти так крепко, что она не могла пошевелиться.

Им всем было приказано покинуть «АI» и следовать по направлению к железнодорожной станции.

Всем раздали по кусочку хлеба, а затем посадили в довольно чистые вагоны для скота со свежей соломой на полу. Двери оставались приоткрытыми, что удивило и обрадовало их, и после продолжительной задержки и нескольких приказов поезд тронулся. Прошло по меньшей мере двадцать минут, прежде чем поезд, медленно набиравший скорость, выехал из Освенцима. Городок образовывали лишь одни административные постройки. Осознать масштабы этой фабрики смерти можно было только при свете дня. Бесчисленные прямоугольники барачков отделялись друг от друга колючей проволокой, над которой возвышались сторожевые вышки, а фигурки заключенных напоминали ползающих муравьев.

Затем пейзаж неожиданно изменился. Поезд шел на запад мимо пышных, зеленых, потрясающих цветущих лугов с журчащими ручейками. Фермеры, работающие в полях и пасущие скот, простые люди, спешащие по делам, внезапно заставили нас осознать, что в мире еще есть жизнь и, возможно, кто-то из присутствующих вскоре снова станет ее частью. Это было 4 июля. На небе сияло солнце, дым Освенцима оставался позади, и кто-то запел песню:

Мир – наш,

И в нем для каждого есть место.

Настанет день, и мы посмеемся над руинами гетто.

Это была переделанная для Терезина песня, звучавшая на предвоенном авангардном концерте, которую особенно любили чешские заключенные. Позже, исчерпав запас популярных и народных чешских песен, мы затанули «Старую реку»<sup>36</sup> и «Якоря прочь»<sup>37</sup>. Казалось, будто студенческое общежитие вывезли на экскурсию. О пустых желудках было забыто, женщины смеялись, дразнили и щекотали друг друга, словно опьяненные радостью жизни дети. Даже вооруженные охранники в вагоне не смогли сдержать улыбку.

---

<sup>34</sup> «Комендант лагеря» (нем.)

<sup>35</sup> Здесь – «Смирно!» (нем.)

<sup>36</sup> Old Man River – песня из американского мюзикла 1927 года Show Boat («Плавучий театр»).

<sup>37</sup> Anchors Away – американский военный марш.

## Глава 20

Когда поезд подъехал к промышленным районам Германии, двери вагонов заперли. Но и это не испортило заключенным настроения. Девушки, окружавшие А-4116 и Китти, почти все были из Праги, и лишь немногие – из провинции. Они были ровесницами и знали друг друга задолго до прихода к власти Адольфа Гитлера. Сплоченные недавними переживаниями, они поклялись до последнего держаться вместе и помогать друг другу.

Следующим вечером, когда поезд остановился в Гамбурге, перед женщинами предстала странная картина. Поезд остановился у темного ряда трехэтажных зданий с огромными раздвижными дверьми на каждом этаже. Из этих окон, словно гроздь винограда, свисали мужчины! Самые разные парни в незнакомой униформе, без опознавательных знаков, все время кричали, смеялись и явно радовались прибытию поезда с молодыми женщинами.

Женщины растерялись, а потом с улыбкой замахали им в ответ. Под надзором очень красивого и элегантного *Hauptscharführer*<sup>38</sup> СС, которого тут же окрестили Петровичем<sup>39</sup>, в честь известного немецкого киноактера, вагон за вагоном высаживался на платформу. Женщин разделили на две группы и отправили в помещение, прежде служившее товарным складом для речных барж, по обе стороны которого стояли погрузочные аппараты. Одна сторона выходила на железную дорогу, а вторая – прямо на реку.

В полу было несколько круглых отверстий, напоминающих люки, с толстыми канатами для шкивов. Ряды коек располагались блоками по шесть штук. Со стороны железной дороги стояла низкая раковина, из центра которой выходило множество кранов. Для капо предназначался огороженный угол. Помещение было темным, напоминало пещеру, и даже летом там было очень холодно. Несколько чешских девушек сразу бросились к окнам в другом конце зала, чтобы застолбить ряд коек. Некоторые тут же забрались на скамейку, чтобы выглянуть наружу.

Ребята из соседнего здания, которых посетила похожая мысль, уже толпились у своих окон. Знакомство не заняло много времени. Поначалу имели место некоторые языковые проблемы, поскольку все они были итальянцы: дезертиры из армии Муссолини и партизаны, сражавшиеся с фашистами под началом Тито<sup>40</sup>. Многие из них немного говорили по-французски и на ломаном немецком. С чешской стороны звучал немецкий, французский и школьная латынь.

А в это время на другом конце склада группа новоприбывших женщин устроила настоящую водную оргию. Раздевшись догола, они брызгали друг на друга воду из кранов, совершенно не обращая внимания на то, что Петрович и несколько охранников уже несколько минут стояли в дверях и наблюдали за этой сценой. Как только девушки заметили пристальные взгляды мужчин, они все поспешили укрыться в койках, пока одна Сильва не осталась стоять в центре раковины, словно мраморная нимфа. Посмеиваясь, Петрович приказал ей спуститься и пройти в кабинет *Kommando*, который находился двумя этажами ниже. Можно только догадываться, что там произошло, но, вернувшись, Сильва не выглядела расстроенной и уж точно не была похожа на девушку, с которой плохо обращались.

Как только ребята из соседнего корпуса заметили у нас охранников, они тут же оставили свои позиции, но с наступлением темноты вернулись в полном составе. К сожалению, лишь одно окно располагалось достаточно близко, чтобы можно было разговаривать, в его проеме помещалось только трое, а потому приходилось занимать очередь.

<sup>38</sup> «Гауптшарфюрер» – самое высокое звание среди унтер-офицеров СС (*нем.*)

<sup>39</sup> Иван Петрович (1894–1969) – известный актер немого кино.

<sup>40</sup> Иосип Броз Тито (1893–1980) – лидер югославских партизан.

Тут же начались споры по поводу того, чья теперь очередь и как долго можно разговаривать. Девочки, оказавшиеся к окну ближе всех, сразу установили монополию на раздачу места и времени в качестве особого одолжения.

Когда поезд с женщинами подъехал к станции, в дверях здания, где держали итальянцев, стоял высокий светловолосый парень, который сразу же выделил из всей толпы А-4116. Теперь они рассказывали друг другу о себе. Его звали Бруно, и он был родом из Северной Италии. Они не могли разговаривать долго, поэтому он попросил ее вернуться позже и сказал, что у него есть идея.

Вернувшись от Петровича, Сильва тут же приняла участие в общем веселье и незамедлительно закрутила безумный роман с римлянином по имени Флавио. Они не разговаривали, только смотрели в глаза друг друга и тихо повторяли «Флавио» и «Сильва». Сложившаяся ситуация моментально наскучила всем, кроме ее непосредственных участников. Тем более что все происходило на расстоянии двадцати метров друг от друга и как минимум в сорока метрах над уровнем моря.

Когда А-4116 снова оказалась у окна, Бруно принялся перекидывать ей небольшой сверток, привязанный к длинной бельевой веревке, пока она наконец его не поймала. Система прекрасно показала себя, и весь следующий час был занят этим приятным занятием. В ту ночь по меньшей мере пятнадцать девушек нашли «своего» итальянца. В том свертке лежали расческа, зубная щетка, сигареты, карандаш, пара носков, шоколад, бумага и длинное письмо примерно такого содержания:

«Дорогая Франческа,

Когда поезд, что привез тебя сюда, остановился перед нашей тюрьмой, я всем сердцем сочувствовал тебе. Ты выглядела такой испуганной и потерянной и в то же время такой молодой и красивой. Мы уже давно не видели таких красивых девушек. Я заметил тебя еще прежде, чем поезд остановился, и не мог отвести взгляда от выражения твоих глаз. Что они сделали с тобой и откуда вас привезли? Меня зовут Бруно, я родом из небольшого городка Тревизо. У меня одиннадцать братьев и сестер, и я очень по ним скучаю. С началом войны меня призвали в армию, но чернорубашечники никогда мне не нравились, поэтому вскоре мы с несколькими друзьями переправились через реку в Югославию и вступили в ряды партизан. Однажды немцы схватили нас и отправили сюда работать. Работа тяжелая, но с нами обращаются достаточно сносно, мы можем писать домой письма и получать посылки. Мои друзья в восторге от вас всех, и мы будем помогать вам по мере сил. Но для меня ты особенная. Мне кажется, что я влюбился и хочу жениться на тебе, когда закончится война. Тебе бы понравилось жить в Италии. Там очень красиво. У нас будет много маленьких *bambinos*<sup>41</sup>, и я сделаю тебя очень счастливой. Пожалуйста, не отвечай мне прямо сейчас, потому что, возможно, ты тоже вскоре полюбишь меня. Я смогу позаботиться о тебе и *bambini*. У меня отличная работа на мебельной фабрике, а поскольку я знаю французский, то после войны я обязательно перейду в отдел экспорта. Американцы уже высадились во Франции и скоро мы будем свободными и счастливыми. Я послал тебе немного вещей, потому что у тебя с собой ничего нет, и среди них бумагу, чтобы ты могла написать мне длинное письмо и рассказать все о себе. Я заканчиваю письмо, потому что времени мало, а тебе еще нужно поспать. Завтра ночью я буду ждать у окна *mia cara piccola bambina*<sup>42</sup>. Я хочу поцеловать тебя, но ты так далеко и в то же время так близко.

Твой Бруно»

<sup>41</sup> «Детей» (итал.)

<sup>42</sup> «Моя дорогая девочка» (итал.)

Сама мысль, что ее заметили как женщину, грела А-4116, особенно оттого, что в тот момент она чувствовала себя кем угодно, только не красавицей. Зубной щеткой, шоколадом и, разумеется, письмом, она поделилась с Китти.

Через некоторое время все затихло, а как только они уснули, раздался сигнал воздушной тревоги и начался настоящий ад. Пришел час ночной бомбардировки Гамбурга. А-4116 сидела на койке, скрестив ноги. Китти уткнулась головой в колени, ощущая жуткий восторг. С каждой вспышкой в небе и последующим грохотом от взорвавшейся бомбы ее радость лишь усиливалась. Позади нее 18-летняя Марион, стоя на коленях, снова и снова читала Ave Maria. Остальные укрылись с головой, чтобы заглушить шум, но А-4116 хотела, чтобы бомбы взрывались еще громче, и очень огорчилась, когда прозвучал отбой. Для девушки, которая с детства боялась стрельбы и зажимала уши на последнем акте «Тоски», потому что не могла вынести выстрелов, реакция была неожиданной. Это лишний раз доказывало, что «прошлая я» осталась позади.

Остаток ночи прошел тихо, только с Герти случилась истерика из-за того, что по ее лицу пробежала крыса. Несчетное количество огромных грызунов жили рядом с водой и тоже голодали, потому что там, где раньше хранилось зерно, теперь жили люди.

В пять утра заключенных разбудил сигнал, и, надев тонкий серый комбинезон и выпив черного кофе, девушки построились перед зданием. Затем они разбились на группы по двадцать человек и в сопровождении охранников под марш Сузы<sup>43</sup> двинулись к другому каналу, где сели на паром, который развез их по рабочим точкам.

В отличие от Освенцима, охранниками здесь были старые члены Вермахта, которые не могли служить на фронте. Были среди них и честолюбивые фанатики, чрезвычайно серьезно относившиеся к своей службе и очень неприятные. Но большинство были куда менее злобными, чем эсэсовцы, которых они и сами боялись.

Ранним утром в лодке было прохладно, и А-4116, пытаясь хоть немного согреться, прижалась к трубе. Ее безуспешные попытки зажечь сигарету на сильном ветру рассмешили одного из мужчин, управлявших старой посудинной.

– Сразу видно, что ты не моряк, – произнес он и показал ей, как одним движением руки зажечь и спичку, и сигарету.

Потом он спросил, кто они и откуда. Как только он услышал, что они еврейские заключенные, его дружелюбие иссякло и он поспешно удалился.

С воды было видно, какая разруха царил в этом некогда прекрасном городе. Целые кварталы лежали в руинах. Дым от горящих после бомбардировки нефтяных цистерн поднимался к небу. За речной оградой возвышался нетронутым богатый пригород Бланкенезе, целостность которого казалась странной. Лодка причалила к нефтеперерабатывающему заводу «Эрдоль», и рабочие сошли на берег. Заключенным выдали лопаты, столько, сколько нашлось, и приказали стаскивать обломки, оставшиеся после авианалета, в большую кучу. Кроме того, в случае обнаружения любого подозрительного предмета было приказано докладывать о нем охранникам, и, если бы это оказался неразорвавшийся снаряд, они должны были вызвать русских военнопленных, чтобы те разобрались с ним.

Завод по переработке нефти продолжал работать, хотя множество зданий и танкеров были разрушены. Там трудились рабы со всей оккупированной Европы. Среди военнопленных больше всего было французов и русских. Последним приходилось особенно тяжело: они явно голодали и ходили в рваных лохмотьях, которые некогда были их униформой. Слишком забитые, они ни с кем не разговаривали, а охранники обращались с ними ужасно жестоко.

---

<sup>43</sup> «Звезды и полосы навсегда» («The Stars and Stripes Forever») – патриотический американский марш композитора Джона Филиппа Сузы.

Остальные были гражданскими, попавшими на принудительные работы со всего света. Общение с французами завязалось быстро, стоило только выждать момент, когда охранники отвернутся, или обратиться к ним в уборной, где для удобства общения была отодвинута одна из планок. Вскоре это стало поводом для пространной беззлой тирады баварского охранника, который никак не мог взять в толк, что можно так долго делать в уборной:

– Что эти девушки там так долго делают? Когда я хочу отлить, я несусь туда, как молодой олень, делаю все дела и пулей обратно. Но кто поймет этих женщин?

Поскольку у французов был богатый опыт общения с системой, они сразу поняли, что к чему, и по мере возможности помогали нам. Они были в несравненно более выгодном положении, чем мы, потому что согласно положению Женевской конвенции, имели право получать из дома посылки и деньги. А еще они не боялись помогать, тогда как все гражданские тряслись перед солдатами в немецкой форме. Работники-немцы не обращали ни на кого внимания, а в случае столкновения с иностранцами или заключенными считали своим долгом отвернуться и смотреть в другую сторону.

Работа была тяжелая, особенно для тех женщин, которые прежде и лопаты в руках не держали. Несколько дней ушло на то, чтобы приноровиться забрасывать обломки прямо в кузов грузовика, а некоторые так этому и не научились. А-4116 работа даже нравилась, а как только она освоила это дело, окружающие стали пенять ей на то, что она работает слишком усердно. Но ее беспокойной натуре было проще работать, чем опереться на лопату и размышлять о прошлом или туманном будущем. Кроме того, так было теплее.

Сбор и погрузка битого кирпича были ничуть не легче. От кучи обломков до грузовика выстраивалась цепь, и люди из рук в руки передавали друг другу осколки. Через час пальцы у всех были в крови.

В полдень, когда подъехал грузовик «Национал-социалистической народной благотворительности» с цистернами густого супа из турнепса и картошки, объявили перерыв. Ужасный на вкус, он был горячим и давал чувство сытости, по крайней мере, на несколько часов. По сравнению с Освенцимом – значительное улучшение.

Утром Китти подружилась с французом, который позже незаметно передал ей кусочек хлеба и записку, в которой обещал принести еще больше на следующий день, если она встретится с ним в уборной. Это был улыбочивый парижанин по имени Пьер, который подмигивал ей каждый раз, когда проходил мимо. В шесть вечера дали свисток, и измотанная колонна поплелась обратно к лодке. Так ушел восторг последних дней.

По возвращении заключенные выстроились в огромную очередь за миской жидкого супа и кусочком хлеба, съев которые девушки без сил повалились на койки, проклиная больные ноги и ноющие мышцы. Бруно и его друзья уже столпились в ожидании у своих окон, и предыдущая ночь повторилась в немного более спокойном тоне. Утром он видел, как А-4116 дрожала на *appell*, поэтому на этот раз он перекинул ей свитер.

Она написала ему письмо, в котором поблагодарила за все подарки и очень трогательное предложение, но сообщила, что с браком все не так просто, поскольку, насколько ей известно, она все еще замужем. Говорить правду было рискованно – так можно было лишиться помощи Бруно, которая была ей очень нужна, но искренность его письма не оставляла ей выбора. Он воспринял эту новость философски, решив отныне относиться к ней как к сестре, и между ними завязалась крепкая дружба.

## Глава 21

Бомбардировки повторялись каждую ночь в одно и то же время, с той лишь разницей, что теперь с первыми звуками сирены женщин поднимали с коек и гнали в подвал, который служил бомбоубежищем. Он был скошен к воде, и, поскольку с приливами и отливами она то поднималась, то опускалась, подвал частенько был наполовину затоплен. Там было холодно, женщины дрожали, сидя на земле в кромешной тьме, а у них по ногам то и дело пробегали крысы. Сверху доносились только звуки взрывов, и здесь, в подвале, одна мысль о том, как они выберутся в случае прямого попадания, страшила их куда больше, чем если бы они пережидали бомбежку наверху. Сестры ненавидели подвал и, если удавалось, просто прятались под койками.

Единственным преимуществом подвала было то, что он был связан арочным проходом, во время прилива полностью уходившим под воду, с другими зданиями. Это открыло удивительные возможности в период отлива, который длился несколько недель.

А тем временем жизнь вошла в привычное русло. Благодаря французам и итальянцам непреходящий голод немного затихал. Все ворчали из-за недосыпа, и остатки вежливости и уважения отошли на второй план.

Зависть к женщинам, у которых были ухажеры-иностранцы, со стороны тех, у кого их не было, усилила напряжение, и язык их общения превратился в грязный, трущобный, жаргонный. Это привело к разделению девушек на группы от двух до шести человек. Они называли себя коммунами и присматривали за своими участниками. Ожесточенные споры между этими группами были в порядке вещей.

Девушки болели мало, даже обычная простуда была редкостью. В санитарную часть обычно обращались из-за мелких травм, полученных на работе.

Как-то раз, спустя месяц после прибытия женщин, по дороге на другой стороне канала ехал Петрович и заметил, что у *его* склада творится что-то странное. А-4116, высунувшись из окна, беспечно болтала с Бруно, но мощный шлепок по попе прервал их занимательный разговор. Она раздраженно обернулась, чтобы узнать, кто этот шутник, и встретила с холодным взглядом Петровича. Он стянул ее со стула, мгновенно вскочил на него, выхватил револьвер и стал палить в сторону итальянцев.

Петрович не причинил им серьезного вреда, потому что все они мгновенно растворились, но это событие положило конец их чудесным почтовым пересылкам. Как ни странно, иных последствий, кроме строгой лекции о том, как надлежит себя вести молодой даме, и предостережения впредь так не делать, не последовало. Все-таки чувство юмора у него еще оставалось.

Было ясно, что нужно найти другой способ общаться. У Веры, капо, которая не работала бок о бок с простыми заключенными, был ухажер-итальянец, обслуживавший весь комплекс зданий. Они познакомились, когда он пришел прочищать засор в канализации. Он умудрился подкупить часто дежурившего старого немецкого солдата Краута и частенько навещался к Вере, пока другие были на работе. И вот он пришел на помощь и стал почтальоном для Бруно, Флавио и других ребят.

Через некоторое время старого Краута поставили на ночное дежурство в часы перед ночными бомбардировками в период отлива. Мальчики воспользовались таким удачным стечением обстоятельств и, изрядно потратившись и тщательно все спланировав, договорились с девушками встретиться в подвале. Только у троих хватило смелости решиться на такое. А-4116 изначально не хотела идти, но после некоторых раздумий присоединилась к ним и стала четвертой. Они выбрали ту ночь, когда Петрович был в городе. С наступлением отбоя немец тихо провел четырех девушек в подвал. Они пообещали вернуться через час, когда как раз должен

был начаться прилив. Освещая себе путь слабым фонариком, они, по колено в воде, пробирались в соседний подвал, где их с нетерпением ждали итальянцы.

Когда все пары разбрелись и устроились на сухих местах, Бруно тут же забыл о своих братских чувствах и стал очень страстным. Его партнерша сопротивлялась не очень упорно, но, когда настал момент полностью сдаться, она застыла как вкопанная. Все чувства улетучились, уступив место мыслям о крысах, сырости и осознанию безобразности всей ситуации.

Бруно отпустил ее и, продолжая держать в своих объятьях, с бесконечной нежностью заверил в том, что любит ее и все понимает. Когда пришло время уходить, он поцеловал ей руки и поблагодарил за встречу. Не было ни обид, ни упреков из-за упущенных возможностей, и их дружба стала только крепче. И все же спустя годы она не раз жалела о том, что не проявила великодушия. Вероятно, подобные встречи повторялись еще не раз, но ни Бруно, ни она не искали возможности увидеться.

Однако обнаружив, что из похожих арок можно попасть в открытую реку, Бруно и Флавио разработали план, согласно которому они, А-4116 и Сильва переплывут на другой берег реки, через Гамбург доберутся до морского порта и убедят рыбака из нейтральной Швеции вывести их из страны.

План казался осуществимым, но у него был ряд недостатков. Во-первых, они не знали ни одного шведа. Такого рыбака им только предстояло найти, и это притом, что они не должны были привлечь к себе внимания, пока идут по Гамбургу. Во-вторых, это значило бы оставить Китти, а учитывая, что война близилась к концу, риск утонуть в Северном море из-за шторма или мин казался неоправданным. После долгих обсуждений все отказались от этого плана.

Пьер познакомил двоюродных сестер с еще одним французом, Марселем, который ни разу не принес им еды, но через дыры в уборной «Эрдоля» передавал целые сводки новостей. Казалось, будто он всю ночь как приклеенный слушал через свой самодельный радиоприемник Би-би-си. Он был убежденным коммунистом и утверждал, что теперь, после высадки американцев в Нормандии и коренного перелома на русском фронте, Германия окажется зажатой между двумя жерновами и это всего лишь вопрос времени. Самое главное – маневрировать так, чтобы не попасться на глаза немцам.

Все это было чистой правдой, но не отменяло ежедневной борьбы за выживание.

Зима пришла раньше обычного, и заключенные мерзли в своих легких комбинезонах, а ботинки были в таком состоянии, что закладывать в них бумагу и тряпки, чтобы ноги хоть ненадолго были сухими, стало чуть ли не основным занятием. Переутомление, недоедание и недостаток сна начали сказываться на женщинах постарше. Они стали чаще навещаться в санчасть, но старались держать это в тайне, чтобы их не отослали. Лишь немногим из них помогали военнопленные, которых больше привлекали молодые женщины. От отчаяния эти женщины начинали рыться в мусоре в поисках окурков, закручивали их в бумагу, какую могли найти и, если не выкуривали их сами, обменивали на кусок хлеба. Им еще не было пятидесяти, но они были не так выносливы, как молодые, которые, с присущей юности бесчувственностью, пренебрегали ими, если только дело не касалось их матерей.

В конце октября 1944 года прошел слух, что заключенных куда-то переправят, потому что здания будут переданы для других нужд. Петровича вызвали на фронт. Дни, когда эсэсовцы работали в глубоком тылу, подошли к концу. Итальянцы должны были получить гражданский статус и примкнуть к бесчисленной иностранной рабочей силе.

Грустно было расставаться. Парни отдали своим чешским подругам все что только могли и пообещали держать с ними связь, если им удастся узнать, куда их увезли.

Построение перед отправкой оказалось трагикомичным, потому что, когда женщины встали в шеренгу, а Петрович в последний раз осматривал свои войска, у каждой девушки в руках было по узелку, хотя четыремя месяцами ранее они приехали чуть ли не голые. Размыш-

ляя об этом феномене, он ненадолго остановился перед А-4116, вытащил из ее нагрудного кармана несколько сигарет и спросил:

- Так-так, а это у нас откуда?
- Нашла, *Hauptscharführer*.
- Неужели? Где?
- Там же, где и всегда, *Hauptscharführer*.

Петрович кивнул, положил сигареты на место и пошел дальше. Девушек посадили на грузовики и отправили в Нойграбен, предместье Гамбурга, расположенное от него в двадцати пяти километрах. Через десять дней старый Краут рассказал им, что склад у реки сравняло с землей прямое попадание бомбы. К тому моменту итальянцев там уже тоже не было.

## Глава 22

По сравнению со всеми предыдущими местами заключения Нойграбен был прекрасен: небольшой лагерь, состоящий из четырех бараков, расположенных прямо напротив леса. Но, к сожалению, кроме дома нового *Kommandant*, других построек вокруг не наблюдалось.

*Kommandant* был старик, похожий на Капитана Крюка, но в действительности всего лишь отставной начальник станции, на которого поспешно нацепили форму СС. Его лай был страшнее укуса, а во время *appell* он любил читать проповеди, особенно, если шел дождь. Многих старых охранников из Вермахта отправили сюда вместе с нами. Вновь начались работы по расчистке завалов, погрузке и разгрузке кирпичей и песка, только теперь заключенных каждый день отправляли на новое место, а в один конец приходилось идти пешком от одного до двух часов.

Женщины работали на окраинах Гамбурга, иногда в кварталах, где жили бюргеры, что давало им дополнительную возможность по дороге на работу или возвращаясь в бараки «организовывать» – эвфемизм, заменяющий «воровать» – из полуразрушенных домов различные вещи. В тех домах можно было найти любые бесполезные вещицы, а вот еду – редко. Но, проходя по полям, они порой выкапывали забытую в земле картошку или репу. Охранники уставали и не обращали внимания, если кто-то время от времени отставал.

Как-то раз группа девушек по дороге в лагерь проходила мимо яблоневого сада. На деревьях еще висели несобранные фрукты, и, недолго думая, самые смелые вскарабкались на них и принялись кидать яблоки своим подругам. К тому моменту, как их привели обратно в лагерь, хозяин уже успел позвонить и пожаловаться в *Kommandantur*. Капитан Крюк очень расстроился и от злости тут же объявил *Appell*. Подавляя ярость, он, не в силах сказать ни слова, молча ходил вдоль рядов взад-вперед, а потом вдруг началось:

– *Кто-нибудь хоть раз видел что-то подобное? Еврейские девки забрались на яблони! В-в-вы что, с ума посходили? Ну-у, я вам покажу. Вы у меня еще так покачаетесь на тех деревьях! А потом я вас всех перестреляю. И вот тогда вы очень удивитесь.*

Пока задние ряды давились от смеха, передним приходилось стоять с невозмутимыми лицами, а у охранников начался массовый приступ неконтролируемого кашля.

Немцы сочли, что ситуация вышла из-под контроля, и какой-то фанатик направил рапорт в высшие эшелоны. Через несколько дней старый Краут сказал нам, что дюжину охранников заменят женщины из СС, а на место Капитана Крюка придет новый *Sturmbannführer*<sup>44</sup> СС. Веселье закончилось.

Не прошло и недели, как в сопровождении женщин из СС приехал новый *Kommandant*, сразу давший нам понять, что, по его мнению, в лагере творится вонючий беспорядок и реорганизация начнется немедленно. Его звали Шписс<sup>45</sup>. По профессии он был плотником, его лицо напоминало раздавленную репу, а во рту было полно зловонных «пеньков», и стоило ему заговорить, как начинался настоящий дождь из слюны. Свое первое *appell* он провел со служебным револьвером в руках и метровым резиновым шлангом, которым беспрестанно размахивал и грозил, что не преминет воспользоваться им.

У него была страсть к тому, чтобы все делать самому, вернее, заставлять делать это заключенных. Со Шписсом случались жуткие истерики, во время которых у него на губах появлялась пена, как у бешеной собаки. Система бухгалтерского учета в лагере была сложной: он получал плату за труд заключенных и, в свою очередь, должен был оплачивать еду для них и другие

<sup>44</sup> Штурмбаннфюрер (*нем.*) – звание в СС, с октября 1936 года соответствовавшее должности командира батальона и званию майора вермахта, а также широкому спектру штабных и административных должностей. – *Примеч. ред.*

<sup>45</sup> «Шампур, копьё» (*нем.*) – *Примеч. ред.*

предметы снабжения. Твердо решивший навести порядок в этом плохо управляемом учреждении, Шписс первым делом сократил количество заключенных, работавших внутри лагеря, и тщательно проверил всех больных, чтобы искоренить мошенников.

Шписс оставил на посту Гретту, лучшую капо лагеря, бывшую танцовщицу ночного клуба, которая оказалась здесь только потому, что вышла замуж за чешского еврея. Благодаря своему *Berliner Schnauze*<sup>46</sup>, она снискала расположение Капитана Крюка. Несмотря на то что ей уже было за сорок, она умела ладить с начальством и у нее получалось назначать на должности капо и их заместителей тех, кто ей нравился.

Но в одном случае ее действия были оправданны. Мими, подруга Гретты, забеременела еще в Освенциме, а теперь была уже на пятом месяце. Узнала она об этом совсем недавно, потому что почти у всех девушек в лагере месячные давно прекратились. У многих после того, как они переступили порог «Выставиште». Само по себе отсутствие месячных не было проблемой. Даже наоборот. Но многие узнали, что это не мешает зачатию, слишком поздно. Чтобы холодной зимой Мими не работала на морозе, Гретта предложила ее Шписсу в качестве секретаря.

Ничего не зная о ее положении, он очень быстро привык к ней. Мими была превосходной машинисткой, до того хорошей, что, когда Шписс узнал о беременности, он позволил ей родить ребенка в лагере, но с одним условием: сразу после рождения его увезут. Необычное поведение для того, кто за малейший проступок мог избить заключенного до полусмерти. Более того, в отношении беременных и больных заключенных существовали строгие инструкции: их надлежало немедленно отправить в Берген-Бельзен. Именно для этого в лагерь каждые две недели навещался врач СС, хотя считалось, что он проверяет запасы лекарств в лазарете. Шписс не только время от времени давал Мими яблоки, но и запирали ее в шкафу каждый раз, когда врач приезжал с проверкой.

На второй день после захвата власти он стал перебирать документы, пылившиеся в его новом кабинете, и обнаружил, что среди заключенных есть электрик. По блокам пронесся крик:

– А-4116 вызывают в *Kommandantur!* Передайте дальше!

Она вошла в кабинет Шписса, готовясь к худшему.

– Ты электрик, – сказал он, не взглянув на нее.

– Да, *Sturmbannführer*.

– Я переезжаю в кабинет на другом конце барака – из его окон виден лагерь. Хочу перенести туда этот телефон. Кабель лежит там, в углу. *Verstanden?*<sup>47</sup>

– *Jawohl!*<sup>48</sup>

Шписс вышел, а А-4116 осталась в кабинете, не имея ни малейшего представления, как это сделать. Осторожно отвинтив крышку распределительного шкафа, она зарисовала схему соединения проводов цветными карандашами, которые лежали у Шписса на столе. Потом она отсоединила телефон, вставила вместо него новый кабель, обесточила его и принялась протягивать по коридору. А-4116 прикрепляла кабель к стене и молилась небесному покровителю электриков, чтобы эта проклятая штука заработала. Оказавшись в другом конце барака, она установила аппарат, подсоединила его и, обливаясь холодным потом, сняла трубку. Как только Шписс вернулся, чтобы проверить, как идет работа, в трубке раздался гудок.

С тех пор у Шписса возникла нелепая идея, будто она умеет почти все. На другой день он решил освободить ее от уличных работ и назначил ответственной за обслуживание лагеря, что разозлило Гретту, которой пришлось уволить одну из своих протеже.

<sup>46</sup> «Берлинское рыло/морда» (нем.) – Примеч. ред.

<sup>47</sup> «Понятно?» (нем.) – Здесь и далее примеч. переводчика.

<sup>48</sup> «Так точно.» (нем.)

Потом Шписс решил, что еда, которую доставляли в *Kommandantur* из центральной кухни, была недостаточно вкусной. А раз уж вокруг столько женщин, то это можно исправить, к тому же, если урезать количество припасов, предназначенных для лагеря, то он сможет оставлять для собственных нужд еще больше продуктов. В казармах не было кухни, поэтому вместе с А-4116 он переоборудовал под нее соседний гараж!

Электричества, а, следовательно, света, плиты или даже печки там не было, но последнее мало его волновало и казалось сущей мелочью. Перво-наперво нужно было протянуть провода от высоковольтного столба, стоявшего между двумя постройками. Шписс сделал для А-4116 замысловатые наброски с кучей предохранителей и выдал все необходимые инструменты, но, поскольку именно А-4116 предстояло выполнить большую часть работы, пусть даже и под чутким руководством «эксперта» Шписса, затея казалась ей очень опасной. А что если она по ошибке сожжет все здание? Положение было сложным, но ей ничего не оставалось, кроме как попросить плотные кожаные перчатки, чтобы самой не получить удар током.

В первое же утро без дождя Шписс принес длинную лестницу, снял перчатки, отдал их А-4116 и заставил ее лезть на столб. Собравшись с мыслями, она весь день корпела над линией, дважды разорвала электрическую цепь предохранителями, и к вечеру – о чудо! – стало светло, хотя кабель опасно раскачивался на ветру.

На другой день Шписс реквизирует плиту, кастрюли, сковородки и приказал бригаде лагерной кухни готовить еду для него и его подчиненных, а присматривать за ними поставил строгую женщину из СС по имени Эрика. Ведь он считал, что работницы кухни целыми днями просто просиживают штаны, готовя только кофе и суп на пятьсот человек.

После этого Шписс невольно начал уважать А-4116 и однажды, растянувшись и положив ноги на стол, в то время как она стояла перед ним навтыжку и ждала приказаний на день, пробурчал:

– Вольно. А ты уверена, что ты еврейка?

– Иначе меня бы тут не было, так?

– Я и не знал, что эти чертовы вонючие евреи умеют работать руками, пока не встретил тебя. Эти паразиты только и могут, что выжимать все соки из честных работяг или расслаиваться в кафе и планировать большевистскую революцию. А богатые американские евреи уже втянули Америку в войну с нами. В «Штюрмере»<sup>49</sup> об этом пишут каждый день. Ну ответь же хоть что-нибудь! Я не стану тебя бить.

– *Sturmbannführer*, я думаю, что не стоит верить всему, что пишут в газетах. Разве вы не слышали о миллионах работающих евреев? И многие из них живут в бедности. Портные, сапожники, почтальоны и механики – с ними-то что? И как, по-вашему, они могут одновременно планировать большевистскую революцию и быть капиталистами? Может, мир не делится на белое и черное?

– Чушь. Почини это окно и приступай к работе. Не можем же мы болтать весь день.

Качая головой, он вышел из кабинета и будто бы невзначай оставил ей на краю стола сигарету. А-4116 пожала плечами, пытаясь понять логику Шписса, а затем занялась окном.

Работы было много, особенно в *Kommandantur*. Мелкая бытовая техника женщин из отрядов СС все время перегружала электросети, и А-4116 провела не один час на низком чердаке их барака, где прямо на деревянных потолочных досках в свободном доступе лежали провода. Распластавшись на животе, она устраняла проблемы с контактами и короткие замыкания. А-4116 убила много времени, мечтая или слушая доносящееся снизу радио, пока лежала там в тепле и сухости, вполне довольная своей участью. Немецкие новостные программы сообщали, что Рейх победоносно отступает на всех фронтах.

---

<sup>49</sup> Der Stürmer (с нем. – «Штурмовик») – еженедельное издание, выходившее в свет с 1923 по 1945 гг. Его отличительной чертой была оголтелая пропаганда против евреев, коммунистов и прочих «врагов Рейха».

В ноябре 1944 года из Берген-Бельзена наконец-то привезли долгожданные пальто. Одежда была старая, а на спинах желтой лаковой краской были нарисованы кресты. Но с обувью дела обстояли еще хуже. Девушки ходили на работу в обмотанных веревками лохмотьях, и даже Шписс со своей извращенной отеческой заботой о заключенных не мог выбить для них хотя бы партию деревянных сабо.

## Глава 23

В это время с Китти приключилась беда. Копаясь в обломках и грязи, она подхватила кожную инфекцию, которая вызывала сильнейших зуд. Из-за постоянных расчесов началась стрептодермия. Недостаток витаминов и недоедание сделали свое дело: она с ног до головы покрылась жуткими фурункулами. Некоторые из них были настолько большими, что молодому лагерному врачу со скромным хирургическим опытом, который до войны работал педиатром, а теперь испытывал острую нехватку бинтов и дезинфицирующих средств, пришлось их вскрывать.

Когда же фурункулы вспухли подмышками, температура у Китти сильно повысилась. Доктор, соблюдая осторожность, на несколько дней оставил ее в лагере. Дело в том, что у Шписса была поистине сверхъестественная способность запоминать лица больных, и он имел склонность сообщать дежурному медику обо всех, кто не спешил выздоравливать.

Китти была старшей по комнате, и теперь другие девушки принялись ворчать из-за того, что она режет их хлеб. Она почувствовала себя прокаженной и погрузилась в тяжелую депрессию. Лишь находчивость А-4116 помогла вывести кухню из этого состояния. Она стала вскрывать и обрабатывать бесчисленные гнойники и, чтобы доказать Китти, что она не испытывает к ней отвращения, спала с несчастной под одним одеялом.

Гретта сжалась над Китти и уговорила Шписса оставить ее в лагере, чтобы она чистила уборные. А-4116 отчаянно пыталась передать письмо ее жениху, оставшемуся в Праге. Теперь ей разрешалось проходить почти триста метров от лагеря до *Kommandantur* без охраны, и часто по дороге она встречала немца, который здоровался с ней. Это придавало ей смелости, и однажды она остановилась, чтобы попросить незнакомца отправить в Прагу письмо и принести ей ответное, если оно придет. Из тех двухсот подаренных ей Бруно марок, сверток которых она носила на шейном шнурке, А-4116 дала ему десять. Он согласился, а через три недели вернулся и принес ей небольшую упаковку дезинфицирующего средства, бинты, различные мази и письмо.

Письмо подействовало на Китти лучше, чем лекарства (которые, к слову, были очень эффективными), ведь оно доказывало, что о ней помнят. Китти всюду носила его с собой, снова и снова перечитывала отдельные абзацы, и на какое-то время ей стало лучше. Слова Ивана о бесконечной любви и тоске по ней, о том, что его родители ждут не дождутся, когда же она вернется, и что они уже начали ремонтировать и готовить для нее комнату, сделали больше, чем было под силу лагерному врачу.

В относительно тихие ночи, когда свет отключали еще в семь или восемь вечера, вся комната разделяла тепло и покой, которыми веяло от этого любовного послания. Бомбежки продолжались, но снаряды падали вдалеке, и были видны лишь зарева пожаров. Холодными и темными ночами можно было только завернуться в тонкое одеяло и разговаривать. Говорили они о будущем, которое казалось скрытым за плотной пеленой тумана, и гадали, кто продержится до конца войны. Не все были уверены в том, что с падением нацистов все снова станет как прежде.

Мысли о «нормальной жизни» и связанных с ней обязанностях со временем начали вызывать у них тревогу: работа на производстве, оплата жилья и газа, не говоря уже о том, как вернуться к мужьям, которые за все эти годы могли измениться и стать другими людьми. Сознание многих, изо дня в день выживавших за счет своего ума и изворотливости, уже стало рабским. В то время спокойная и никем неконтролируемая жизнь представлялась утопией.

Девушки отправлялись в долгие воображаемые прогулки по Праге, которые они превращали в игру: кто лучше всех помнит названия улиц, магазинов и прочие детали. Но самой излюбленной их фантазией была горячая ванна.

А-4116 одолела глубокая тоска по *Mutti*, и она начала записывать письма в тетрадь, которую «организовала» из стола Шписса. Она лежала на чердаке *Kommandantur*, притворяясь, будто работает, и записывала все, что случилось с тех пор, как маму увез тот поезд. Она прятала блокнот в своем соломенном тюфяке в надежде на... На что? Она и сама не знала.

В обязанности тех, кто работал в лагере, входила разгрузка машин с провизией и еженедельные выезды за хлебом и другими припасами. Для четверых назначенных счастливиц это был праздник. Охранник вместе с шофером сидели в кабине грузовика, а девушки ехали в кузове и с радостью лицезрели царящее вокруг разрушение.

Когда они подъехали к булочной, охранник тут же исчез за ее дверями, чтобы купить кофе и выпечку, а девушки, под присмотром хозяйки лавки, занимались погрузкой хлеба. Будучи уже опытными воровками, они быстро поняли, что женщина считает не количество буханок, а только деревянные доски, на которых их выносили к грузовику. На каждой такой доске лежало по двадцать буханок, и как только весь хлеб оказывался в кузове, доски складывали у стены.

Если женщина на что-нибудь отвлекалась, то с легкостью можно было отправить в грузовик не только хлеб, но и доску. Проходя через пекарню, А-4116 увидела на полке несколько кубиков дрожжей. В голове промелькнула мысль: витамин В для Китти, и один из кубиков быстро исчез у нее под пальто. На обратном пути у девочек было лишь две проблемы: как избавиться от досок на людной дороге, и как каждая из них сможет пронести в лагерь по пять буханок хлеба, не привлекая к себе внимания внезапным увеличением в объеме.

В итоге доски просто выбросили в воду с моста над каналом, и каждая из девушек тут же съела по буханке. А-4116 заглывала еще теплый хлеб так быстро, что тот комом застрял у нее в пищеводе. Лицо у нее покраснело как у индюшки, что вызвало бурное веселье остальных девушек, суетившихся вокруг нее, пока комок наконец не прошел в желудок. Оставшуюся добычу пронесли в лагерь без сучка и задоринки, хотя Ева утверждала, что охранник у ворот долго смотрел на нее с подозрением.

Еще несколько дней эти четверо и их коммуны засыпали без ставших уже привычными приступов голода. Дрожжи сотворили с Китти чудо. Хозяйка пекарни только через четыре недели заметила, что в день, когда приезжает грузовик из Нойграбена, у нее пропадает хлеб. Но даже тогда она не смогла ничего доказать и просто сказала Шписсу, что у нее появился грузовик для доставки.

Эта новость расстроила всех еще и потому, что контакты с внешним миром теперь стали делом случая. Военнопленные поблизости не трудились, а гражданские рабочие были скупы и напуганы. Оставалось только копать в развалинах, и некоторые девушки научились делать это виртуозно. Связь с итальянцами была полностью потеряна, но у некоторых девушек были друзья из «Сражающейся Франции»<sup>50</sup>, которые навещали их по воскресеньям. Однажды Диту и ее поклонника застукали, когда они держались за руки через колючую проволоку, Шписс жестоко избил ее резиновым шлангом. На *appell* он из соображений морали привел этот случай в пример: девушкам не подобает тайно встречаться с французами. Очевидно, он спутал концлагерь с женским монастырем.

---

<sup>50</sup> Французское патриотическое движение во главе с генералом Шарлем де Голлем.

## Глава 24

В лагере завязались и куда более странные отношения. Для Аушвиц-І такое было в порядке вещей, но среди чехов прежде не случалось. Молодая, безобидная и при случае добрая женщина из СС по имени Буби подружилась с Сильвой. Их дружба была такой крепкой, что Буби часто приходила к ней по ночам и уходила только на рассвете. Соседи Сильвы по комнате молчали, и публично об этом никто не говорил, разве что только самые благочестивые удивленно поднимали брови. Но с тех пор ни Сильва, ни ее мать больше не голодали. И кто мог их судить?

Во время ночных разговоров по душам вспоминали «Освобожденный театр» в Праге и те импровизации, которые показывали на сцене его звезды Восковец и Верих<sup>51</sup>, заслужившие своими сатирическими ревью и песнями звание кумиров целого поколения. А почему бы не устроить свой концерт на Рождество? Среди заключенных были профессиональные певицы, актрисы, писательницы, а еще множество любителей, которые могли и очень хотели повеселиться.

Заключенные хотели устроить праздник в столовой, поэтому просить у Шписса разрешение отправили Гретту. Он удивился, но разрешил с тем условием, что все номера будут на немецком и первыми их посмотрят он и его подчиненные. А-4116 взяла на себя технические вопросы, а для написания сценария, руководства и режиссуры отдельных сценок был сформирован комитет. Построили передвижную сцену, на которой стояли столы и светильники. Из пятисот носовых платков, которые только что привезли в лагерь вместо обуви, сшили костюмы, а женщины из СС любезно предложили свою косметику.

Анни, журналистка из пражского издания «Прагер Тагблатт»<sup>52</sup>, написала оригинальную сценку про запертую в башне принцессу (Китти), ее кормилицу (А-4116) и белого рыцаря (Здена). Он спасает ее и убивает чудовище – марионетку, которую дергали за ниточки.

Также решили разыграть сцену из фильма «Шуберт. Песнь любви и отчаяния», но больше для того, чтобы удовлетворить тягу немцев к китчу. На главные роли были назначены три лагерные красавицы: Сильва, Ева и Герти, которых одели в кринолин из носовых платков. Гретта собиралась показать один из номеров, с которым она выступала в ночных клубах еще до того, как стала уважаемой миссис Кон, а А-4116 должна была представить на суд публики вольный пересказ монолога из пьесы Жана Кокто «Человеческий голос», который в Терезине как-то раз исполнила Вава. Бедный Кокто.

Но гвоздем программы была Здена с песнями из немецких оперетт, эстрадными номерами из репертуара Восковца и Вериха и других авангардных антифашистских авторов.

Все представление стало плодом огромной любви: для репетиций заключенные жертвовали дневными перерывами и ломали голову над тем, как поставить все действие на двух языках. У них и в мыслях не было подгонять чешскую версию под немецкую.

Репетировали ночи напролет и два воскресенья при тусклом свете одной керосиновой лампы. Все работали вместе, не думая о личной выгоде. Портные шили костюмы, не ожидая никакой награды, и даже Гретта и А-4116 были вежливы друг с другом.

К Рождеству 1944 года все было готово. Светильники проверили, занавес из четырех одеял был на месте, и оркестр – квартет, который должен был дуть на расчески, обернутые папиросной бумагой, – стоял наготове. В зале появились Шписс и его свита. Они заняли первый

<sup>51</sup> Иржи Восковец (1905–1981) и Ян Верих (1905–1980) – чешские актеры, до Второй мировой войны выступавшие в комедийном дуэте. В своих номерах они выступали против фашизма и критиковали социальные проблемы.

<sup>52</sup> Немецкоязычная газета либерально-демократического толка, издававшаяся в Праге с 1876 по 1939 гг.

и второй ряды. На почтительном расстоянии от них сели остальные заключенные. Началась увертюра, и свет погас. Электричество отключилось.

С редким для себя добродушием Шписс послал своих подчиненных в *Kommandantur* за керосиновыми лампами, и шоу продолжилось. Занавес открылся: на тускло освещенной сцене с деревяшкой, прижатой к плечу, словно это была винтовка, стояла Здена в роли одинокого солдата и пела своим медным хриплым голосом удивительно подходящую песню из немецкой оперетты:

Господь на небесах, забыл ли ты меня?  
Того, кто так жаждет любви.  
Сонм ангелов окружает тебя,  
Пошли же и ты одного для меня.

Оркестр не отрывал взгляд от немцев, пока дул в свои расчески-гармоники. Гретта в одиночку исполнила сладострастное танго, а Шписс смотрел на нее не отрываясь и облизывал губы, в то время как его подчиненные сидели рядом в полном недоумении. Публика не могла решить, что интереснее: происходящее на сцене или в первых рядах. Но как бы там ни было, вечер прошел на ура. А когда концерт закончился, Шписс приказал Гретте и ее помощникам пройти в *Kommandantur*, откуда они вернулись с салями, хлебом и маринадами для всех участников представления.

В следующие два вечера свет не отключали, а сам концерт только выиграл от того, что все актеры могли играть на родном языке. После этого отношение немцев немного изменилось, а Шписс даже обмолвился Мими, что прежде и не замечал, что заключенные – женщины, и очень даже симпатичные. И почему некоторые из них не немки!

Несколько дней все только и говорили, что о концерте, и, несмотря на ужасную погоду и бесконечные ежедневные страдания, они воспряли духом. В канун Нового года Шписс вновь завел одностороннюю беседу с А-4116 и уверял ее, что война скоро закончится:

– Теперь ждать осталось недолго, скоро ты отсюда уедешь. Видишь ли, наши ученые изобрели новое оружие. Конечно, это строго секретно, но с его помощью мы отколем Англию от Европы.

– Но *Sturmbannführer*, и что же будет делать Англия? Дрейфовать к Канаде?

– К Канаде? А это где? В любом случае, когда мы выиграем войну, тебя переселят на прекрасный остров Мадагаскар. Так сказал фюрер.

С этой забавной новостью А-4116 вернулась в лагерь, чтобы вместе с подругами отпраздновать Новый год. Ее опьянила простая водопроводная вода, оптимистическая сводка новостей от «сражающихся французов» и еще одна неожиданность: почти все охранники пришли к ним поздравить их с праздником.

1945 год начался тяжело. Стояли лютые морозы, очередь в больницу по утрам становилась все длиннее, и первая смерть от пневмонии не заставила себя ждать. Шписс настаивал на том, чтобы гроб изготовили в лагере своими силами, и вручил А-4116 чертеж конусообразного ящика. Все ее протесты касательно того, что по еврейским обрядам тело должно быть захоронено в гробу из шести досок, остались без внимания, и после того, как она безрезультатно пыталась распилить доски по его инструкции, он оттолкнул ее и сам сделал гроб.

Дров было мало, их запас ограничивался тем, что рабочим бригадам удавалось «организовать» из развалин городских домов. И даже если их было достаточно, маленькие чугунные печки в углу барака почти не грели. Все постоянно мерзли и кашляли, некоторые – кровью. Водопроводные трубы и слив у выгребной ямы замерзли, а ее содержимое оказалось кругом разлито. Осмотрев это зловонное месиво, Шписс выдал А-4116 пару высоких резиновых сапог, трехметровый железный шест и приказал ей зайти в эту жижу и проделать сливное отверстие.

Она сделала несколько дырок во льду, и дерьмо осело, но на другой день эти дырки снова замерзли.

Раз в два дня А-4116 приходилось заходить в эту вонючую яму, и в конце концов ее запах намертво пристал к ней, а люди, даже издали завидев ее, сворачивали с дороги. Соседки жаловались, что им приходится спать с ней в одном бараке, но идти было некуда. Китти пыталась обратить все в шутку, но смешного было мало. На помощь А-4116 пришли теплые дни.

Однажды утром в конце месяца, согнувшаяся от боли Мими, шатаясь, при помощи Гретты прошла через лагерь к лазарету. А-4116 пошла за ними и осталась ждать у двери на случай, если им понадобится помощь. Но несколько часов все было тихо, ни звука. Большинство из тех, кто работал в лагере, даже не знали о той драме, что разыгрывалась сейчас в лазарете. Наконец, ближе к вечеру, перед тем как остальные вернулись с работ, раздался тонкий детский плач. Через мгновение он прервался, а еще через десять минут Гретта и доктор К. вышли на улицу с коробкой из-под обуви и направились к воротам. Они что-то быстро сказали охраннику, и тот проводил их в примыкавший к лагерю лес. А когда эта троица вернулась, в руках у них ничего не было. Все произошедшее покрыла пелена молчания, и через три дня Мими уже сидела за пишущей машинке в кабинете Шписса. Позже доктор К. сказала, что это был здоровый мальчик, который мог бы жить.

Наконец-то пришел приказ отправить в Нойенгамме (большой лагерь для мужчин) грузовик, чтобы забрать неоднократно реквизированную обувь. Когда группа доставки приехала на место, сопровождавший их охранник ушел подписать какие-то бумаги, а девушки под присмотром другого солдата ждали его на скамье в административном здании. Тот бросал на них откровенно похотливые взгляды, пока наконец не остановился прямо перед ними, широко расставив ноги.

– Вы, что ли, НОВЕНЬКИЕ?

– Новенькие? Вы о чем?

– О борделе, разумеется.

– Нет-нет, мы еврейки и приехали забрать обувь в лагерь Нойграбен.

Он тут же отвернулся, плюнул и больше не смотрел в их сторону, будто его гадюка укусила. Загружая в грузовик около сотни сандалий для пятисот заключенных, девушки сошлись во мнении, что есть и свои плюсы в том, чтобы быть еврейкой.

## Глава 25

Дела на фронте становились для немцев все хуже и хуже, и даже убежденные патриоты Германии начали сомневаться в том, что в новостях, рассказывающих, будто перегруппировка сил была заранее спланирована и поможет победить, говорят правду. Настроение Шписса и его приспешниц было ужасным, и он пришел в ярость, когда во время *appell* выяснилось, что еще одна женщина беременна.

То, что Вера, капо второго блока, ждала ребенка от Бенедикто, не было ни для кого секретом. Все надеялись, что с ней случится то же, что и с Мими, и что дипломатические таланты Гретты уберегут Веру, а война закончится раньше, чем родится ребенок. Но, как ни странно, на этот раз Шписс наотрез отказался оставлять ее в лагере и начал готовить документы для перевода Веры в Берген-Бельзен. Просьбы Гретты, Мими и А-4116 ни к чему не привели. Он только злился и кричал, что они пытаются играть на его отцовских чувствах к заключенным.

Девушки принялись лихорадочно искать Бенедикто, чтобы рассказать ему о ребенке и заставить помочь Вере бежать. Даже некоторые охранники помогли разыскивать итальянцев. В конце концов с ним связались. Субботней ночью он, запыхавшись, подбежал к забору и узнал, что опоздал. Утром предыдущего дня, под охраной Эрики из СС, которая ни с кем сделок не заключала, Веру отослали.

В блоке Веру очень любили, все женщины делились с ней едой, чтобы она питалась хорошо, а ее ребенка считали общим. Любую, кто пришел бы на ее место в блоке, ждало испытание. И выбор Шписса пал на А-4116, которую он назначил исключительно из скарденности, ведь она все равно работала в лагере и тогда одним заключенным на работах вне лагеря будет больше.

Как и ожидалось, во втором блоке А-4116 встретили холодно. Первые несколько дней прошли без происшествий. Потом две женщины из СС вместе с Греттой пришли с обычной инспекцией. В комнате № 2 Эрика заметила, что одна из потолочных досок не состыкуется с остальными. Она приказала А-4116 встать на койку и приподнять эту доску, чтобы посмотреть, что там может быть. Обитатели таких барачков знали о низких потолках и о том, как удобно прятать там вещи. Напрасно было пытаться убедить их, что там ничего нет, потому что эта сука сама забралась на койку и нашла тайник с едой.

Эрика приказала вытащить все припасы и разложить на столе, чтобы затем отвезти на тачке в *Kommandantur*. Они обнаружили мешок картошки, немного репы, муку, ячмень, несколько банок компота и прочие мелочи, которые обитатели комнаты «организовали» во время набегов на развалины домов – все это теперь нужно было отдать немцам. А-4116 завороженно смотрела на банку вишневого компота, который она всегда очень любила. Сובлазн забрать ее себе рос с каждой минутой. Она схватила банку и незаметно спрятала ее под койкой.

Когда вечером девушки вернулись с работ, они тут же обнаружили, что их тайник разграбили. Весь праведный гнев они обрушили на новую капо. А-4116 обвинили в том, что она намеренно устроила эту инспекцию, чтобы выслужиться перед СС. Ее заверения никто не слушал, а Гретта молчала и не вмешивалась. Отчасти из-за того, что они с А-4116 никогда не были подругами, а отчасти и потому, что ее задел тот факт, что Шписс назначил А-4116, как бы сказать, не посоветовавшись с ней.

Как только все немного улеглось, одна из девушек из второй комнаты ворвалась в подсобку капо с новой жалобой и увидела, как А-4116 ест ее вишни. Получив подтверждение предательства, весь блок снова пришел в ярость и избрал путь пассивного сопротивления и полнейшего презрения. Правда в том, что А-4116 и самой не нравилось то, что она сделала, но ее объяснения, а уже тем более извинения никто и слушать не хотел, и хотя она чувствовала себя виноватой, тяжелым преступлением свой поступок она не считала.

Проблемы начались в воскресенье, когда заключенные должны были убираться и выносить мусор под присмотром своих капо. Они наотрез отказались делать это. В то воскресенье весь день шел сильный дождь, и они, полураздетые, просто сидели на койках и сушили одежду у слабого огня. Когда А-4116 напомнила им об уборке, они послали ее к черту. А-4116 не сильно беспокоил тот факт, что она выносит мусор не шесть, а семь дней в неделю, но это обеспокоило Шписса, с которым она столкнулась по пути к помойке.

– Куда ты понесла этот мусор? Это не твоя работа. В твоём подчинении сто шестьдесят заключенных, вот пусть они его и выносят.

– Вчера вечером девочки промокли до нитки, и одежда еще не просохла. Мне не сложно сделать это самой.

– И слышать не хочу эту *Quatsch*<sup>53</sup>! Что ты за капо, если не можешь заставить их работать? Уволена. Возвращайся в свой прежний блок и чтобы завтра была на работе!

Радуюсь тому, что этот кошмар для нее закончился, А-4116 вернулась в комнату в прежний блок. Как только она появилась в дверях, разговор оборвался. Ей было ужасно больно от того, что даже Китти отказалась разговаривать с ней и все повторяла: «Как ты могла?» Явное нежелание окружающих выслушать ее объяснения задело А-4116, поэтому она взяла тетрадь, куда записывала письма к Mutti и забралась на свою полку.

Вскоре во время очередной инспекции Эрика нашла эту тетрадь. А-4116 перехватили у ворот, когда она возвращалась с работы, и спешно доставили в кабинет Шписса на допрос. Все письма были написаны по-чешски, и Мими пришлось дать беглый перевод, который она сделала весьма небрежно, опуская самые уничтожительные места.

– Ты хоть понимаешь, что у меня в руках незаконный документ, и мой долг – сообщить о нем и позволить свершиться правосудию?

Она кивнула.

– Забирай, немедленно сожги его в этой печи и проваливай, – сказал он.

Открыв верхнюю часть печки, А-4116 смотрела, как ее самые драгоценные чувства пожирает огонь, и думала: «Может, так эти письма дойдут до Mutti».

Мими рассказала о содержании тетради, и соседки сменили гнев на милость. Но самое главное то, что Китти вновь стала прежней.

В конце февраля 1945 года в Нойграбене разместили гражданских, чьи дома пострадали при бомбежке. Заключенных без предупреждения перевели в промышленный район Гамбурга под названием Тифстак. Их везли в открытых грузовиках, и они увидели, во что превратился город. Целые улицы лежали в руинах, а люди, словно крысы, жили в подвалах разрушенных домов, и, судя по всему, условия их жизни были не лучше, чем у заключенных.

Достаточно было лишь раз взглянуть на новый лагерь и сразу же становилось понятно, что это идеальная мишень для бомбежки: четыре огороженных забором деревянных барака, окруженные со всех сторон железнодорожными путями, на которых стояли два огромных баллона с газом, а в непосредственной близости размещалась электростанция. Теперь авианалеты совершались и днем и ночью, а бомбы разрывались повсюду. Лагерь лишь чудом еще не задело. Каждый вечер, возвращаясь с работы, девушки удивлялись тому, что он еще стоит, хотя казалось, что пылает все вокруг. Их восхищение разведкой союзников и точностью их данных не знало границ.

---

<sup>53</sup> «Ерунда, вздор» (нем.)

## Глава 26

20 марта 1945 года лагерный лазарет, который занимал две трети одного из барачков, был переполнен – там оказалась почти четверть всех заключенных. Когда зазвучал сигнал воздушной тревоги, А-4116 лежала на верхней полке со сломанным пальцем – днем ранее она не удержала в замерзших руках обломок бордюра, и он упал ей прямо на ногу. Рядом с приступом железистой лихорадки лежала Китти.

Из окна они видели, как охрана проталкивается в бункеры. Не прошло и нескольких минут, как в небе показались американские бомбардировщики с белыми хвостами. Их вид на фоне голубого безоблачного неба завораживал, вот только сильный ветер там, наверху, слишком быстро рассеивал их следы. Как только заключенные забеспокоились о том, не повлияет ли ветер на точность ударов, послушался знакомый свист, и рядом с ними прогремел взрыв.

Женщин подбросило в воздух, они упали лицом на груды искореженных коек, а сверху на них обрушилась крыша. Пострадавшие понимали, что снаряд разорвался совсем близко от них, и, несмотря на оглушающий грохот авианалета, крики и стоны тех, кто оказался под завалами, они принялись звать друг друга по именам. Кто-то откликнулся, кто-то стонал, но большинство не отзывалось.

Когда прозвучал отбой, прибыли находившиеся неподалеку спасательные отряды. Крышу подняли, и А-4116 смогла выбраться самостоятельно. Тут она увидела Китти, похожую на пыльную тряпичную куклу, которую за плечи подняли из-под обломков. Одну за другой девушек извлекли из-под завалов и положили на землю. Двадцать из них были мертвы, остальные получили ранения разной степени тяжести. Здена, девушка с медным тембром, и Анни, автор причудливой сказочной сценки на рождественском вечере, погибли. Доктор К. серьезно пострадала, у нее было множество травм, в том числе и сломанный позвоночник. Она осталась инвалидом на всю оставшуюся жизнь и выжила только потому, что в момент взрыва совершала обход.

Снаряд угодил прямо в процедурный кабинет, располагавшийся в конце барака. Меньше всех пострадали те девушки, которые лежали на верхних полках. Барак превратился в груды поломанных досок и разбитого стекла. Все окна и двери в соседних зданиях были выбиты. Когда с работ вернулись остальные заключенные, которым предстояло позаботиться о жертвах, возник неопиcуемый хаос.

Чтобы предотвратить побег, Шписс расставил вокруг частично разрушенного забора всех своих людей. Но даже несмотря на это, той же ночью пять или шесть девушек сбежали и до конца войны прятались среди развалин города. А-4116 и Китти обсуждали такую возможность, но из-за того, что у одной была лихорадка, а вторая с трудом передвигалась, они решили не рисковать. К тому же на их пальто красовались огромные желтые кресты, а без девушки замерзли бы насмерть. Они находились в центре Германии, а отсутствие малейшего представления о том, где проходит линия фронта и какие опасности их поджидают, перевешивали преимущества побега.

Вечером Шписс лично наблюдал за раздачей супа. Снаружи шел дождь и дул сильный ветер, который то и дело распахивал двери. Криком он приказал А-4116, стоявшей в самом конце очереди, закрыть ее. Прокормив до входа в барак, А-4116 выполнила его приказание, но через две минуты дверь снова распахнулась.

– *Verflucht nochmal*<sup>54</sup>, я же приказал тебе закрыть ее! – завопил Шписс.

– Черт побери, я и закрыла! – крикнула она в ответ.

<sup>54</sup> «Черт побери» (нем.) – Примеч. ред.

Тут он швырнул в нее тяжелую глиняную миску. А-4116 увернулась, миска разбилась о стену. А когда в ночи прогремели выстрелы его револьвера, А-4116 уже ускользнула через открытую дверь. С тех пор она старалась не попадаться ему на глаза, на *appell* стояла в заднем ряду и старалась быть незаметной.

Жизнь превратилась в сплошной кошмар. Как только звучал сигнал тревоги, девушек загоняли в стоявший неподалеку амбар, а охранники спешили укрыться в своем бункере. От отчужденности и радости, с которыми А-4116 прежде переживала бомбежки, не осталось и следа, и теперь с первыми разрывами снарядов ее накрывал невыразимый ужас. Теснясь в амбаре, словно сельди в бочке, они дрожали, кричали, молились или впадали в состояние шока, сопровождавшегося неспособностью контролировать кишечник или мочевой пузырь.

То попадание так и осталось единичным, но, когда женщины выходили из амбара, перед ними из раза в раз представал объятый огнем город. Несмотря на это, их посылали на работы каждый день.

5 апреля их без предупреждения выстроили в шеренги и погрузили в товарные вагоны – началась спешная эвакуация. Они ехали около часа. Затем поезд на два часа встал в какой-то глуши, поехал назад, а потом опять вперед. Это продолжалось целые сутки. Периодически их выпускали, чтобы они могли сходить в туалет у путей, вдоль которых цепью выстраивались вооруженные солдаты. Их поезд трижды обстреливали с низколетящих самолетов. Охранники прятались под вагонами, а заключенных запирали внутри.

Во время одной из остановок подруги Эрны, уроженки Гамбурга, уговорили, а вернее, заставили ее бежать. Она никак не могла решиться, местность была ей не знакома, но больше всего ей не хотелось покидать «стадо». В конце концов, пока другие шумели и отвлекали солдат, она заползла под вагоны и растворилась в ночи.

На другой день поезд остановился у лагеря Берген-Бельзен. Последовала долгая перебранка между Шписсом и *Lager-Kommandant*<sup>55</sup>, который сказал, что ему плевать, откуда исходит приказ, и он не намерен принимать к себе новых заключенных. В свою очередь машинист поезда отказался везти их обратно. В конце концов их выгрузили и отвели в лагерь.

Перед ними предстала поистине омерзительная картина.

На территории площадью почти в двести пятьдесят тысяч квадратных метров находилось сорок тысяч заключенных, больше похожих на ожившие трупы, и тринадцать тысяч настоящих непогребенных трупов. Груды тел были разбросаны по всему лагерю. Они были свалены в огромные горы, возвышавшиеся по всему лагерю. Несмотря на крики и пинки эсэсовцев поторапливаться, один из заключенных продолжал медленно тащить за ноги мертвеца к общей могиле – казалось, это и есть танец смерти.

Повсюду на улице и внутри барачков кишели вши. Словно муравьи, они цепочкой тянулись от мертвых к живым.

Еды не было. Воды на всех не хватало. Люди жевали грязную траву. Многие просто сидели или лежали на земле и ждали смерти. В некоторых сваленных в кучу мертвецах еще теплилась жизнь. Одна из девушек, которая ехала с нами, увидела среди них двоюродную сестру: ее веки еще шевелились. При помощи друзей она вытащила ее из горы трупов, ей чудом удалось вернуть сестру к жизни. Мы спрашивали у заключенных лагеря о Вере, и они сказали, что она умерла от тифа еще до рождения ребенка.

В лагере девушки встретили нескольких друзей, но тем приходилось самим их окликать, потому что их невозможно было узнать. Скелеты с запавшими глазами, обтянутые тонкой, как пергамент, серой кожей. Кроме блуждания по лагерю в поисках друзей, родственников или пищи, единственным занятием была ловля друг на друге вшей.

<sup>55</sup> «Комендант лагеря» (нем.) – Здесь и далее примеч. переводчика.

Но, несмотря ни на что, дважды в день с немецкой точностью всех заключенных собирали на *appell*. Совершенно бесполезное занятие, учитывая, что тот, кто еще утром был жив, к обеду мог уже умереть. Коек в бараках почти не было – их пустили на дрова. Не было ни тюфяков, ни одеял, заключенные вповалку спали на голом полу, положив голову на чьи-то ягодицы.

Прошло всего два месяца с тех пор, как двое заключенных из Венгрии занесли в лагерь тиф и началась эпидемия. Теперь, когда каждый день умирало от 250 до 300 заключенных, газовые камеры были не нужны. Ходили слухи о каннибализме в мужском отсеке, и, учитывая, что у некоторых трупов не хватало части бедер, скорее всего, это была правда.

Как-то раз внезапно раздали хлеб, хотя за несколько дней до этого кормить заключенных практически перестали. Как только изголодавшиеся люди впились зубами в хлеб и принялись пережевывать его, они услышали странный скрежет: в хлеб запекли толченное стекло. Неизвестно, сколько людей тогда умерло от сильнейшего внутреннего кровотечения, потому что многие съели его, несмотря на очевидный риск. Когда человек голоден настолько, что все двойится в глазах, мыслить здраво очень тяжело.

Эсэсовцы в своих начищенных до блеска сапогах размахивали хлыстами направо и налево, и все еще демонстрировали высокий уровень дисциплины, но однажды утром лагерь проснулся, и оказалось, что все охранники ушли, исчезли без следа. На их место заступили солдаты из Венгерской дивизии Гимmlера.

Некоторые заключенные наивно думали, что коричневорубашечники будут снисходительнее предшественников, но это были настоящие маньяки, которые стреляли из винтовок по любому, кто подходил к колючей проволоке ближе, чем на десять метров. Линия фронта приближалась с каждым днем. Кругом гремела артиллерия. Судя по залпам, их лагерь окружали.

В тот день среди чешских заключенных появилась еще одна женщина. Это была подруга Сильвы Буби, надзирательница из Нойграбена, которая приехала в новой полосатой робе и, будучи никем не замеченной, какое-то время оставалась среди заключенных. 13 и 14 апреля никто не выходил из бараков: венгры целились в голову любому, кто решался высунуться на улицу.

15-го числа входная дверь была приоткрыта, и одна из девушек бесцветным голосом сказала, что по главной дороге едет танк.

– Наверное, нас сейчас расстреляют из пулемета, – ответил ей кто-то.

– У него сбоку нарисована белая звезда, люк открыт, а на солдатах – черные береты, – настаивала все та же девушка.

– Иди ты к черту со своими фантазиями, – пробурчал кто-то, но были и те, кто из любопытства подполз к двери посмотреть.

Она говорила правду. Танк ей не привиделся. Как не привиделась ей и звезда на боку, и колонна следовавших за ним автомобилей.

Британцы наконец-то были здесь, на ветру развивался Юнион Джек<sup>56</sup>, но заключенные были слишком далеко, чтобы поверить в реальность происходящего или ощутить радость освобождения. Осторожно, все еще страшась венгерских пуль, они по одному выходили из бараков. Когда все стало очевидно, они пошли, поползли и побежали к забору, чтобы поближе взглянуть на своих освободителей. На дороге один за другим появлялись бронетранспортеры, а солдаты выворачивали карманы наизнанку и кидали через колючую проволоку все, что у них было: шоколадные батончики, пайки, сигареты и другие мелочи, а в знак победы поднимали вверх два пальца. Многие из них плакали. Изголодавшиеся заключенные тут же стали вырывать друг у друга то, что бросили им солдаты, и завязались кровавые драки.

---

<sup>56</sup> Union Jack (англ.) – флаг Британской империи.

Чуть позже бригадир Глен Хьюз<sup>57</sup> прошел по лагерю, его адъютанты попросили всех сохранять спокойствие, а тех, кто хоть немного знает английский, – выйти вперед, чтобы помочь с раздачей еды и оказанием первой помощи. Слезы текли по щекам генерала, и он не пытался скрыть их, видя столь ужасные страдания людей. Все хотели прикоснуться к нему и его солдатам, поцеловать их руки, но британцам было запрещено подходить ближе, чем на полтора метра, чтобы не заразиться тифом.

Ближе к вечеру подъехали большие грузовики с продовольствием, которое британцы, по всей видимости, обнаружили на первом же захваченном немецком складе. Килограмм тушенки из Чехословакии и маленькая банка сгущенки на человека. Китти доставала мясо из банки прямо пальцами и в один присест съела всю тушенку, 40 % которой составляло чистое сало, а потом запила все сгущенным молоком. А-4116 была уверена, что в течение часа умрет от дизентерии, потому что не могла проглотить ни кусочка.

На другой день британцы открыли нейтральную зону между двумя ограждениями из колючей проволоки, и весь лагерь стал доступным для мужчин и женщин, а потом открыли и склады немцев. В нескольких зданиях, на крышах которых были нарисованы огромные красные кресты, было достаточно еды и одежды, чтобы обеспечить армию и 40 000 заключенных Берген-Бельзена. Каждый, кто был в состоянии, с губительной жадностью забирался на склады как через двери, так и через окна. В состоянии массовой истерии люди буквально тонули – они засовывали головы в бочки с солеными огурцами, горчицей, лекваром<sup>58</sup> и прочими припасами, в то время как остальные пытались перелезть через них.

Китти и А-4116 смотрели на это со стороны, чувствуя, что им не хватит сил ввязаться в драку, но чуть позже они заметили, как их похожие на скелеты собратья в немецкой униформе и сапогах выходят из соседнего, менее людного склада, и рискнули заглянуть туда. Девушкам удалось добыть две чудесные военные шинели на меховой подкладке, которые доходили им до пяток, и палатку. Со всем этим сестры, спасаясь от вшей, обосновались на одной из сторожевых вышек на нейтральной территории. Их даже не смущало, что прямо перед ними возвышалась гора трупов, выражения лиц которых менялось в зависимости от того, как падал свет. Их не смущало и то, что вышка была открыта со всех сторон и походила на холодный и продуваемый всеми ветрами балкон в трех метрах от земли. Установив палатку так, чтобы в нее не дул ветер, девушки укутались в шинели и уснули, словно принцессы в башне.

---

<sup>57</sup> Хью Ллуэллин Глен Хьюз (1892–1973) – офицер лечебного корпуса Королевской армии, прошел Первую и Вторую мировые войны.

<sup>58</sup> Очень густое, сваренное без сахара сливовое варенье. – *Примеч. ред.*

## Глава 27

Последовавшие за этими событиями дни были очень странными. Разумеется, в разгар эпидемии отпустить узников домой было невозможно. Наше положение внезапно изменилось: вчерашние заключенные свободно ходили по лагерю и наблюдали за тем, как эсэсовцев пригоняют хоронить мертвых и выполнять прочую грязную работу.

Через три дня их было невозможно отличить от заключенных. Под надзором британских солдат над ними теперь глумились бывшие узники и подгоняли работать: *schneller*<sup>59</sup>; *быстрее, сука; ублюдок!* Солдаты не позволяли наносить им увечья, но в то же время было очевидно, что они наслаждаются сменой ролей между заключенными и их бывшими палачами.

О Буби доложили в первый же день после освобождения. Ее арестовали и отправили на работы вместе с другими женщинами из СС.

Бывшая заключенная из чешской группы, юная беспризорница, которая выросла в лагере, находила в наблюдении за ними особенное удовольствие, и как-то раз, при помощи пантомимы, стала объяснять британскому охраннику, что ей нужны сапоги одной из бывших надзирательниц. Он не сразу понял, что она хочет, но потом улыбнулся, подошел к той женщине и приказал:

– *Du, Frau*, снимите сапоги.

– *Stiefel*<sup>60</sup>, – крикнул кто-то.

– Снимите *Stiefel*, – повторил он, указывая на них штыком.

В конце концов она поняла, что он от нее хочет, и девочка удалилась под всеобщие аплодисменты зрителей.

Поначалу еще высказывались робкие предположения, что Сильва может замолвить словечко за Буби, ведь она в самом деле была безобидной и даже помогла ее матери продержаться на плаву, но Сильва была очень занята флиртом с британскими солдатами на расстоянии трех метров.

Британские спасательные операции были очень эффективными, и в течение нескольких недель людей не только исправно кормили, но и начали эвакуировать на карантин в Целле<sup>61</sup>. Организовать это было крайне трудно, потому что каждого нужно было обработать от вшей, сжечь его одежду и выдать новую. Благодаря ДДТ<sup>62</sup> волосы никому сбривать не пришлось. Больные уезжали первыми.

Через неделю после освобождения А-4116 и Китти пошли в первую группу добровольцев, в чьи обязанности входила помощь в регистрации и возвращении на родину. Вместе с лейтенантом, его водителем и пятью другими говорящими по-английски освобожденными пленными они выехали из Бельзена на маленьком пикапе. Когда они въехали на главную площадь гарнизона в Целле и стали слезать с пикапа, А-4116 упала прямо на руки одному из офицеров.

Последнее, что она услышала, были слова:

– Эта девушка очень больна...

А-4116 очнулась в кровати в больничной палате, где у нее снова и снова спрашивали, как ее зовут, откуда она родом, но она не могла ничего вспомнить. Маленькая женщина-доктор, бывшая заключенная, перенесшая тиф, осмотрела ее и сказала:

– Прости, дорогая, но ты заразилась.

<sup>59</sup> «Быстрее» (нем.) – Примеч. переводчика.

<sup>60</sup> «Сапоги» (нем.) – Примеч. ред.

<sup>61</sup> Город в Германии, Нижней Саксонии. – Примеч. ред.

<sup>62</sup> Инсектицид, применяется в борьбе с самыми разными вредителями. – Здесь и далее примеч. переводчика.

После этого А-4116 то приходила в себя, то вновь теряла сознание. Из последних сил она заставляла себя вставать и тащиться до ведра в углу, чтобы сходить в туалет, понимая, что каждый раз, когда она открывает глаза, одну из ее соседок по палате выносят накрытыми простыней и вперед ногами. И это всегда были те, кто за день до смерти начинали ходить под себя.

Многие пациенты временами бредили, а одна из них однажды встала с кровати, шатаясь, дошла до койки А-4116 и, решив, что она из СС, попыталась задушить ее.

Изо дня в день, в те редкие мгновения, когда лихорадка ослабевала, А-4116 пыталась вспомнить, кто она и где находится, но все попытки были тщетными, и она вновь погружалась в другой мир.

После двух недель в полумраке А-4116 в панике очнулась. Девушка вскочила на кровати и начала кричать, чтобы кто-нибудь открыл окно, потому что она вот-вот задохнется. Она хватала ртом воздух и была уверена, что повсюду раздаются залпы орудий и, в ужасе от того, что немцы сейчас вернутся, А-4116 настаивала на том, что должна бежать. Две медсестры и один укол наконец-то успокоили ее, и она провалилась в глубокий сон.

## Глава 28

В тот же день, но чуть позже я пришла в себя. В окна светило солнце, и комната теперь казалась совсем другой. Девушка, которая пыталась меня задушить, улыбнулась мне ясным взором и объяснила на не родном для себя немецком, что кризис миновал, и теперь со мной все будет хорошо. Температура у меня упала почти до нормы, и я узнала, что те залпы мне не померещились: стреляли в честь перемирия. Я очнулась 8 мая 1945 года.

Еще слабая, но с ясным умом я удивлялась белизне простынь и чистоте в комнате. Я была единственной чешкой. Остальные пациентки были из Венгрии. Доктор и медсестры – из Польши, освобожденные заключенные, у которых был иммунитет к тифу, так как они переболели им еще в Бельзене. По иронии судьбы, при всем национальном многообразии языком общения был немецкий.

Британцы управляли больницами и наблюдали за ними, но в контакт с пациентами не вступали. Однако их присутствие было заметно, и каждый день британский солдат привозил тележку, в которой лежали восхитительные сюрпризы. Под подушкой я держала пока недоступные для меня сигареты, только для того чтобы рассматривать картинку на пачке «Плеерс»; кусок мыла цвета слоновой кости, и самое любимое – пижама в цветочек, сделанная в Канаде. Были еще конфеты, шоколадки, печенье – ничего из этого мой желудок пока не принимал. В перерывах между сном я все думала, почему же Китти не приходит навестить меня, и боялась, что она тоже заразилась тифом или и того хуже – умерла. Я постоянно хотела спать и гнала от себя мысли о родителях и Джо, решив подумать обо всем позже.

Каждый день ко всем, кроме меня, приходили записывать их имена, даты рождения и сведения о ближайших родственниках. Казалось, они переписывали всех, кроме чехов. Я потеряла терпение, потому что не могла понять причину, и жаловалась доктору, пока однажды утром ко мне не пришел регистратор, которой я все и высказала. Когда я назвала ей свое имя, она удивленно воскликнула и сказала, что бедная Китти уже несколько недель изучает списки пациентов больницы и безуспешно пытается меня найти. Теперь она ходит от одного больничного барака к другому в надежде узнать, где я.

Все оказалось очень просто. Меня положили на первую же свободную койку без каких-либо документов. Это была палата венгров. Они решили, что я одна из них. И, вероятно, меня записали под номером А-4116 в венгерский список, куда Китти даже не заглядывала.

И вот она пришла, словно призрак, из другого мира: блестящие светлые волосы, стриженные под «пажа», на лице помада, тушь, одета в красивое платье с узором и белые сандалии. Все нарывы зажили, она улыбалась до ушей и говорила по-чешки.

– Франчинка, я уже думала, что потеряла тебя! Я не могла уехать без тебя. Я вытащу тебя отсюда – в этой дыре опасно оставаться. Я уже поговорила с доктором. На улице меня ждет машина с помощником-британцем, и я ни на минуту больше не упущу тебя из виду.

Ее внешний вид поразил меня. К нам присоединилась доктор и высказала свою озабоченность по поводу идеи Китти, поскольку считала, что я еще слишком слаба для каких-либо переездов. Она предупредила, что мне предписана строгая диета, а рецидив почти всегда приводит к летальному исходу. Кузина и слушать ничего не хотела и настаивала на том, что сможет обо мне позаботиться. Китти подписала бумагу, в которой говорилось, что она берет на себя полную ответственность, и было решено, что меня заберут на следующий день. Китти принесла с собой гору одежды и велела мне вылезти из пижамы. Я наотрез отказалась расстаться с единственной собственностью, которая проделала такой долгий путь из самой Канады. Последовала небольшая ссора, но она вновь победила.

После предупреждения врача о том, что со мной нужно обращаться бережно и давать еду небольшими порциями, мы уехали на джипе, за рулем которого сидел сержант, представив-

шийся Солнышком. После недолгой езды на безумной скорости, во время которой Солнышку приходилось хватать меня на каждом повороте, чтобы я не выпала из машины, мы подъехали к современному кирпичному армейскому барaku. Здесь у Китти была отдельная комната с двумя удобными кроватями и видом на гарнизонную площадь.

Меня уложили в постель. На этот раз выдали ночную рубашку в горошек. Китти включила мне радио, сказала, чтобы я была хорошей девочкой, пока она ненадолго отлучится.

Через два часа кухня обнаружила меня в полубессознательном состоянии на полу в ванной. Помня о предписаниях доктора, Китти перед уходом спрятала всю еду, но, как только она ушла, я принялась исследовать новое жилье и обнаружила на шкафу две большие миски. С огромным усилием я взобралась на стул и в один присест съела гуляш с *Sauerkraut*<sup>63</sup>. Нетрудно догадаться, что случилось потом.

После этого происшествия Китти, уходя на работу, всегда оставляла со мной кого-нибудь. Она привлекала к этой работе любого – от бывшего заключенного до капитана британской армии. Китти работала переводчиком в Отделе репатриации, и у нее было много друзей. На чай она всегда приводила с собой как минимум двух или трех офицеров, и благодаря их нежной заботе я потихоньку вставала на ноги.

Среди них был врач, который посоветовал мне после отмены карантина прибегнуть к системе лечебных пикников на свежем воздухе, «вдали от лагерной атмосферы». Атмосфера в этом лагере была несравнима с той, к которой мы привыкли, но это была хорошая мысль. Наши спасители были бесконечно добры, заботливы и тактичны, но никогда при этом не выказывали явной жалости. Несмотря на то, что я плохо слышала, а волосы после болезни у меня выпадали пучками, они вновь дали мне почувствовать себя молодой и привлекательной женщиной.

Хоть мы никогда не говорили об этом вслух, но ни Китти, ни я не хотели возвращаться домой, ведь мы понимали, как все изменилось за эти годы. Сначала карантин давал нам вескую причину для того, чтобы не ехать, а потом я была слишком слаба для любых путешествий. Но май сменился июнем, и, хотя выживших начали отправлять домой на автобусах, мы не делали попыток вернуться на родину. Наша подруга Ева уехала в Прагу на первом же автобусе и вернулась обратно с печальными, но вполне ожидаемыми новостями. Наши родители были мертвы. Джо числился пропавшим без вести. Муж Евы погиб, а жених Китти Иван в феврале женился на другой. К такому Ева не была готова, а потому она вернулась обратно к нам и продолжила работу в Отделе репатриации.

При таких обстоятельствах мы не спешили возвращаться, да и к тому же Китти и я в наши 23 и 25 лет хорошо проводили время за работой и играми, ходили на танцы, которые устраивали офицеры Красного Креста, и наслаждались всеобщим вниманием. Чем больше я думала о Джо, тем меньше мне хотелось возвращаться к нему.

Я часто виделась с молодым британским капитаном, он подвозил меня до дома и начал учить водить машину. Джейсон был высоким, темноволосым, со свойственным англичанам розоватым оттенком кожи. Он был очень немногословным и не стремился поддерживать светскую беседу. Поначалу я приняла это за некоторую ограниченность ума, но на самом деле Джейсон был просто невероятно сдержанным человеком. Со временем мне удалось рассмотреть и ум этого застенчивого мужчины, и его умение сострадать.

Однажды во время наших занятий по вождению я испугалась выехавшего на дорогу грузовика и врезалась в дерево. Обошлось без серьезных травм, но нам все равно нужна была помощь, потому что у Джейсона на лбу был сильный порез, а у меня – глубокая рана на коленке. Солдаты, сидевшие в том грузовике, испугались, что стали косвенной причиной аварии с участием офицера, и отвезли нас в ближайшую, немецкую больницу. Я вдруг осознала, что меня окружает немецкий персонал. Я была уверена, что, опасаясь репрессий, они не причинят вреда

<sup>63</sup> «Квашеная капуста» (нем.)

Джейсону, но стоило мне представить, что до меня дотронется врач-немец, как меня охватила паника. Схватив Джейсона за руку, я принялась настаивать, чтобы меня осматривали в его присутствии.

На обратном пути в Целле Джейсон взял меня за руку и сказал:

– Тебе нужно научиться не бояться. Эти люди больше ничего тебе не сделают.

Спустя несколько дней, вернувшись с прогулки по вересковому полю, будто в подтверждение моих опасений, мы увидели, что кто-то проткнул все шины нашего джипа.

## Глава 29

После того как я рассказала Джейсону, какие новости Ева привезла из Праги, наши отношения стали еще ближе, хотя некоторые темы мы никогда не обсуждали и старательно избегали разговоров о недавнем прошлом. Как-то мы пошли в кино – кажется, на «Песнь о России»<sup>64</sup>, – и там перед сеансом показывали кинохронику об освобождении концлагеря Берген-Бельзен. Я смотрела ее отстраненно, не веря тому, что видела. На экране появилось изображение двух девушек: они стояли на бывшей сторожевой вышке рядом с горой трупов и махали в камеру.

– Господи, это же вы с Китти! – воскликнул Джейсон с несвойственным ему волнением.

– Нет, быть того не может, – ответила я.

Но меня трясло.

Получив от Ивана то единственное письмо, Китти жила мыслью о том, что сразу по окончании войны выйдет замуж, и теперь рассеивала печаль в бесчисленных вечеринках и общении с нашим общим женатым другом, майором Джеком. В воздухе витала романтика, и многие наши девушки вышли замуж за англичан и так и не вернулись домой.

Но были и другие причины остаться. Польские евреи не спешили возвращаться на родину и пытались найти выживших родственников, чтобы эмигрировать в Палестину или Америку. Красный Крест был лагерным местом встреч, где стояли огромные доски объявлений и сообщений со всего света.

Среди чешских евреев больше всех на родину стремились уроженцы маленьких городов, которые почти не говорили по-немецки и были хуже всех приспособлены к жизни в Германии. Те же, кто ходил в немецкие школы в Чехословакии, не были уверены в светлом будущем в родной стране. Отчасти в этом сыграло роль то, что в Чехословакии началась активная кампания по выдворению всех немецких элементов, за исключением евреев. Но немецкоговорящие евреи были уверены, что назад их никто не ждет. Даже наша группа, в основном состоящая из чехов, не представляла, какой прием их ждет на родине.

Правда, представитель правительства Чехословакии капитан Сейноха и водители автобусов, приезжавшие в Целле, уговаривали нас вернуться и неустанно трудиться во имя объединения общины. Но в наших глазах они были идеалистами, которые, как нам казалось, высказывали скорее личную, а не общую позицию чешского народа. То, что эти люди ездили на полуразвалившихся автобусах за тысячи миль в объезд русской зоны, так как русские не выдавали им транзитные разрешения, показывало, что они наши друзья. Но шесть лет немецкой пропаганды сделали нас недоверчивыми и отстраненными, и потому многие из нас не решились ухватиться за протянутую руку.

Статус-кво тогда казался нам вполне приемлемым, хотя мы все еще жили на военной базе. Но там нас кормили, мы не платили за проживание, наши скромные желания исполнялись, а в качестве дополнительного поощрения нам устраивали развлечения.

Когда в 1941 году Джо уехал из Праги, мы договорились о месте, где встретимся после войны или куда будем посылать письма. На имя наших друзей я написала ему длинное письмо, чтобы он знал, что я жива, но объяснила, что теперь я другой человек и не хочу возвращаться к нему. Я никого не обвиняла, но попыталась донести до него, что мы поспешили вступить в брак в тех необычных обстоятельствах и что, скорее всего, я не создана для семейной жизни. Я просила его не приезжать в Целле и не пытаться уговорить меня изменить решение. Я писала, что мне нужно многое обдумать и что теперь я чувствую: моя жизнь только начинается и мне нужна свобода.

---

<sup>64</sup> Песнь о России («The Song of Russia») (1944) – голливудский фильм, повествующий об американском дирижере, который приезжает на гастроли в СССР вскоре после начала Второй мировой войны и влюбляется в советскую пианистку.

Я написала это письмо не из-за Джейсона. Хотя мы и были близки, в наших отношениях все равно сохранялась некоторая отчужденность. Я почти ничего не знала о его жизни в Англии, да я и не спрашивала об этом – вероятно, потому, что еще не была готова влюбиться. В свою очередь, он принимал меня такой, какая я есть, с пониманием относился к моему продолжительному молчанию и просто был рядом, когда я в нем нуждалась.

Кроме друзей-мужчин у нас с Китти была еще и покровительница – полковник М. из Южной Африки. Она возглавляла Красный Крест и по какой-то причине прониклась к нам симпатией. Полковник М. даже одобряла наше общение с двумя офицерами, хотя в случае с другими девушками отнюдь не была столь терпима. Она присутствовала на танцах и зачастую использовала свой талант к сводничеству, заботясь о подчиненных женщинах из Женского армейского королевского корпуса. Возможно, причина ее симпатии была в том, что мы с Китти говорили по-английски. Она постоянно дарила нам подарки, а когда у меня страшно заболел зуб, отвела меня к врачу, да и в целом заботилась о нас.

Мне стало намного лучше. Волосы отрастали, а с появлением вечеринок во мне снова проснулся интерес к одежде. Я решила превратить прекрасные бежевые и голубые канадские пледы в юбки и куртки «эйзенхауэр», чем привела Китти в полный восторг, но проблема состояла в том, что у нас не было швейной машинки.

Когда мы поделились этим с полковником М., она поручила Солнышку отвезти нас в деревню, чтобы найти и реквизировать машинку, что он с удовольствием и сделал. Мы наугад выбрали симпатичный дом в приятном районе и позвонили в дверь. Нам открыла женщина, и в этот миг я уловила в ее глазах тот же страх, что владел мной, когда много лет назад я открывала дверь людям в немецкой униформе. Когда женщина поняла, что Солнышку от нее нужна только швейная машина, она испытала явное облегчение и даже предложила нам нитки и прочие мелкие принадлежности. Солнышко выдал ей квитанцию и отправился восвояси.

Однажды в конце июля наши друзья в полном составе пришли поговорить по душам с нами и еще несколькими девушками. Лица у них были серьезными, а в качестве моральной поддержки они привели с собой полковника М. Они сказали, что вскоре им на смену придут другие оккупационные войска, и ради нашего же блага и их спокойствия нам лучше вернуться домой. Они подозревали, что солдаты, которые не участвовали в освобождении Берген-Бельзена, будут относиться к нам иначе и вряд ли смогут понять, в чем разница между бывшей еврейской узницей и немецкой фройляйн. Я поняла это за несколько дней до этого разговора во время танца с недавно прибывшим из Шотландии офицером. На нем был килт, а на мне – брюки Военно-морского флота США, и он спросил, почему у меня на руке вытатуирован номер телефона. Его глупость разозлила меня, я развернулась и ушла, оставив его стоять посреди танцплощадки в полном недоумении, гадая, почему я повела себя с ним так грубо.

Полковник М. подмигнула мне и присоединилась к уговорам остальных. Конечно же, они были правы. Пришло время возвращаться домой. Наши прощания с друзьями, в компании и один на один, были наполнены горечью.

Следующие несколько дней наши освободители осыпали нас приданным из одеял, упаковок мыла, банок с супом, сигаретами и даже немецкими деньгами. Когда мы с Китти упаковали все вещи, оказалось, что на двоих у нас тринадцать чемоданов и радио. В автобусе со всем этим ехать было нельзя, а поскольку мы не доверяли наше имущество никому, то было решено, что Китти поедет на старом экскурсионном автобусе, который курсировал между Прагой и Целле, а я с багажом – на маленьком грузовичке в компании трех молодых заключенных-мужчин и водителя по фамилии Пепик.

## Глава 30

Автобус и грузовичок отправились в Чехословакию в начале августа 1945-го. Грузовик был очень старым, и к вечеру мы безнадежно отстали от автобуса. Мужчины не говорили по-английски, и машина, словно по расписанию, глохла каждые десять километров. Найти бензин было нелегко, но настоящие проблемы с механикой начались тогда, когда мы въехали в американскую зону. Американские солдаты никак не могли взять в толк, зачем кому-то в здравом уме может понадобиться такая развалюха, и советовали бросить ее в канаве.

Я снова и снова пыталась объяснить им, что мы политические заключенные и возвращаемся домой в Чехословакию, которая последние шесть лет была оккупирована, и что почти все машины в Европе сейчас находятся в таком же состоянии. И если американские солдаты не захотят предоставить нам один из своих грузовиков, то не будут ли они так любезны помочь нам починить наш, чтобы мы могли доехать до Праги? Чаще всего они справлялись с этой задачей благодаря своим техническим навыкам и воспринимали ее починку как решение головомки.

В отличие от британцев, американцы показались мне невероятно наивными, любопытными и простодушными. Они не стеснялись задавать вопросы о татуировке у меня на руке или делать предложения, которые я отклоняла простым «НЕТ». Один из них, раздающий советы направо и налево о том, как починить распадающуюся на части деталь, оказался таксистом из Нью-Йорка. Заинтересовавшись одинокой англоговорящей девушкой в компании четырех, как ему показалось, бродяг, он спросил после моего отказа: «ПОЧЕМУ?» Заметив, что ремонт займет несколько часов, этот американец предложил мне свою постель и ласки, а также шоколад и тушенку. Мой ответ, что мне это не интересно и я вовсе не немецкая фройляйн, не произвел на него никакого впечатления и он пошел своей дорогой.

Не доверяя нашей машине (которую уже успели окрестить Росинантом, в честь коня Дон Кихота), мы ехали только днем, так как найти помощь ночью было почти невозможно. Больше 250 километров в день мы проехать не могли, поэтому у нас (в большей степени у меня) возникала проблема с ночлегом. Мужчины не хотели оставлять Росинанта без присмотра и спали прямо на багаже. Однако каждый вечер появлялся какой-нибудь внимательный американский офицер и предлагал найти для меня комнату. Порой это заканчивалось комично, ведь я боялась немцев, а если они были поблизости, то просила приставить ко мне охранника. Однажды вечером нам пришлось сделать остановку к югу от Касселя, и сержант-американец, дежуривший в этом районе, зашел в первый же частный дом, чтобы устроить меня на ночлег. После долгих отговорок и ворчаний хозяев о том, что им негде разместить гостью, они все же решили освободить для меня диван в гостиной. Прежде чем уйти, сержант Боб заверил меня, что будет неподалеку, и в случае чего мне нужно будет только крикнуть в окно. Не доверяя своим вынужденным хозяевам, я легла спать в одежде. Через час старик, напомнивший мне Шписса, пришел спросить меня, все ли в порядке. Он стал уверять, что население Германии не имело ни малейшего понятия о том, что творилось в концлагерях. Источая фальшивую жалость, он начал поглаживать татуировку на моей руке, и меня охватила паника. В конце концов я подскочила с дивана, побежала к окну и закричала:

– Боб! Боб! На помощь!

Через мгновение он уже был в комнате, выпроводил старого развратника и отвел меня в другой дом на той же улице, где жила женщина с маленьким ребенком. Она уложила меня рядом с собой, в кровать, которая когда-то принадлежала ее мужу, и заверила Боба, что позаботится обо мне. Что-то в ее поведении натолкнуло меня на мысль, что она видит Боба не в первый раз, и, возможно, я заняла его место.

За время путешествия по послевоенной Германии нам стало окончательно ясно, что «тысячелетний Рейх» пал. В руинах лежали как крупные портовые города, среди которых были Гамбург и Бремен, так и города в глубине страны – Кассель и Швайнфурт. Немцы, с которыми мне довелось общаться, на мой взгляд, были столь же отвратительны в своем раболепии перед победителями, как и в прежнем слепом повиновении фюреру.

В Бад-Херсфельде мы прождали ремонт несколько часов. Я познакомилась со старшим офицером, майором Кляйном, евреем из Филадельфии, чьи родственники жили в Чехословакии. Он отчаянно пытался найти их и за завтраком, который состоял из яичного порошка, бекона и «Нескафе», задал мне тысячу вопросов. Он сделал все, что было в его силах, чтобы Росинант завершил вторую часть нашего путешествия. Это было сродни чуду, ведь к тому времени его бампер был уже перевязан веревкой, а тормоза практически отсутствовали. К счастью, он уже не мог ехать быстрее пятидесяти километров в час, а на спусках Пепик снижал скорость, переключаясь на низкую передачу. В конце концов мы добрались до чешской границы недалеко от Тахова. Здесь закончилась американская зона, и я впервые повстречалась с русскими.

Пока Пепик ходил на блокпост проверять наши документы, на меня с любопытством поглядывал коренастый солдат с базукой и красной звездой на фуражке. Не имея возможности заговорить со мной на каком-либо языке, кроме русского, он указал на мой рот и спросил: – Ты курва<sup>65</sup>?

Мы поняли, о чем он, и ребята в нашем грузовике расхохотались. Вернувшись, Пепик объяснил нашему другу и освободителю, что в Европе почти все девушки пользуются помадой, и это вовсе не признак распущенности.

Мы отправились в Пльзень, где, как я надеялась, меня ждала Китти. Там жила ее сводная сестра, которая была замужем за врачом-христианином. Но мы узнали, что автобус высадил людей из этого района, прождал нас два дня и на следующее утро отправился в Прагу: водитель решил, что мы пересекли границу в другом месте. Мы выгрузили багаж, на котором стояла пометка «Пльзень» и, несмотря на то что уже темнело, решили ехать в Прагу.

Как только мы пересекли границу, меня словно лавиной накрыла любовь к природе Богемии, и мой восторг рос с каждой минутой. Около трех часов ночи, всего в пятнадцати километрах от Праги на подъеме Росинант зашипел, закашлял и встал намертво. Пепик не выдержал и разразился смачным и знакомым *do prdele!* (непереводимое чешское ругательство, ближе всего к «Вот дерьмо!»). Рухнув на сиденье водителя в кабине, он заявил, что будет спать. Я умоляла и предлагала подтолкнуть Росинанта, но все было без толку. Он уже громко храпел.

В расстройстве я прошла несколько сотен метров до вершины холма, откуда было видно зарево пражских огней. А в это время я застряла здесь со сломанным грузовиком и храпящим водителем. Это было просто не честно!

Пепик проснулся на рассвете. Посмотрев на мое несчастное выражение лица, он открыл капот и принялся копаться в моторе. От отчаяния он крепко стукнул по нему и, ко всеобщему удивлению, мотор заработал.

В пять утра Росинант въехал в город, минуя якобы необходимый карантин и регистрацию, и направился прямо к дому старого школьного приятеля Китти, где мы с ней планировали *rendezvous*<sup>66</sup>. А когда нам навстречу выбежали она, Йирка, его мама и бабушка, то мы подняли такой шум, что разбудили всю улицу.

Спустя почти три года я вновь была дома.

---

<sup>65</sup> «Шлюха» (слав.)

<sup>66</sup> Здесь – «встреча» (фр.)

## Глава 31

Но был ли это действительно дом? Вокруг меня суетились три милых человека, которые были готовы разделить с нами крошечную трехкомнатную квартиру, и, казалось, они считают своим долгом накормить нас за все три года недоедания.

После завтрака мы сделали несколько телефонных звонков и отправились в центр города. Еще не осознав, что все оскорбительные для евреев надписи исчезли, мы, как дрессированные собаки, прошли в последний вагон трамвая и встали на задней посадочной площадке, хотя внутри было много свободных мест. Я ехала к Макс, другу семьи, женатому на христианке, в чьем доме мы с Джо договорились встретиться по окончании войны.

В сиянии солнца город был великолепен, в нем мало что изменилось. Из-за того, что Прагу не бомбили, она выглядела так же, как и сотни лет назад, но для меня это был уже другой город. Магазины теперь назывались иначе, и было непривычно видеть людей в штатском. В дешевом хлопковом платье и с голыми ногами я чувствовала себя чужой среди шикарной, хотя и немного старомодной утренней толпы на Вацлавской площади.

Максу было не по себе в хорошо сшитом еще до войны костюме, как будто он не знал, что сказать или сделать. Он сразу же отдал мне нераспечатанное письмо, которое я послала Джо. Макс сказал, что мой муж мертв. Мне никогда и в голову не приходило, что Джо не выживет, и меня захлестнула волна сожаления и стыда за то, что я вообще написала это письмо. Потом Макс как-то неловко всучил мне тысячу крон, чтобы я могла продержаться первые дни, пригласил на ужин и под каким-то предлогом вышел.

После этого я отправилась в Центр еврейской общины, чтобы узнать, как вновь стать полноправным гражданином и есть ли возможность получить квартиру. Документов у меня не было, я сдала их еще три года назад. Я заполнила бесконечное число бумаг, и мне дали список адресов, по которым я могу получить копии своих документов. Еще мне сказали, что жилья катастрофически не хватает, и одинокие не могут рассчитывать на отдельные квартиры, семьи и женатые пары имеют в этом вопросе преимущество. Я просмотрела списки погибших и пропавших без вести, а также места, куда их депортировали, и на душе стало так тяжело, что, если бы это хоть что-то решило, я бы немедленно села в автобус до Германии.

Затем я заглянула в наше бывшее ателье. Мари при виде меня смутилась так же, как Макс, и тут же заявила, что ничего моего в ателье больше нет. К концу войны, чтобы власти не обвинили ее в обогащении за счет присвоения собственности евреев, она сдала все на хранение. Затем она добавила, что наши прежние клиенты уже не приходят к ней и ее мужу-портному. Они все переоборудовали за свой счет, и арендная плата выписывалась на ее новую фамилию: все принадлежало им.

Мне дали понять все четко и ясно, и я вернулась к Макс и его семье. Ужин был накрыт на моей скатерти. Мы пили из маминых бокалов, и, казалось, они и не думали, что это может казаться странным. От неловкости я не могла ничего сказать, но все же решила спросить, что случилось с одеждой Джо, которую я отдала им. У меня не было ничего на зиму, но я могла бы переделать что-нибудь из его вещей.

Они начали говорить о том, какие тяжелые времена пережили, что многие наши вещи им пришлось обменять на еду, и тут их старший восемнадцатилетний сын вошел в комнату в костюме Джо. Алена покраснела, и я спешно заверила ее, что это не так важно, и на Ярузеке он смотрится лучше, чем на мне. Но я не понимала, что происходит. Ни тогда, ни потом, когда то же самое повторялось снова и снова в течение еще нескольких недель.

Конечно, далеко не все так отнеслись к моему возвращению, но избавиться от первой горечи было тяжело. Я отправилась в небольшой городок к нашей бывшей клиентке, у которой мама оставила немного денег и свои бриллиантовые серьги. Мама сшила для нее подвенечное

платье, и теперь она, ее мать и муж встретили меня как давно пропавшее дитя. Они дали мне в три раза больше причитающейся суммы, объясняя это тем, что деньги сильно потеряли в цене, и не хотели отпускать меня. Детей у них не было, и они даже предлагали удочерить меня. Я оценила их добрые намерения, но после нескольких дней раздумий поняла, что не смогу жить в маленьком городке с чужими родственниками.

Были и те, кто приглашали меня к себе, суетились, пытаясь устроить мою жизнь, и беспокоились о том, как бы ненароком не задеть мои чувства.

Я возненавидела клише, которые на меня вешали и в которых я как будто тонула.

– То, что ваш народ смог выжить, – это просто чудо!

До войны никто не говорил мне «ваш народ».

Еще я слышала:

– Ты даже не представляешь, как мы голодали. Все выдавалось по талонам!

Или:

– Такая красивая и умная девушка, как ты, очень скоро выйдет замуж, и все твои проблемы решатся.

Подобные фразы и еще с десяток других приводили меня в бешенство, и я поняла, что только в компании выживших друзей из Терезина могу успокоиться. Те из них, кто вернулся сразу после освобождения, жили в квартирах, конфискованных у немцев. Некоторые вернулись в свои старые дома, хотя часто мебели на месте не оказывалось. Рядом с ними я, по крайней мере, не чувствовала вину за то, что выжила. Они подбадривали меня, уверяли, что я привыкну, что все постепенно возвращается на круги своя, и вообще, почему я так долго не возвращалась? Мы выжили, и, учитывая обстоятельства, разве этого мало?

Конечно же, они были правы, но впервые за шесть лет я чувствовала себя опустошенной, растерянной, уставшей и безнадежно одинокой. Теперь Китти, когда выкраивала время в своей набирающей оборот жизни, заставляла меня как-то действовать: возвращать собственность, выходить на улицу, делать хоть что-то.

Она нашла нам обеим пристанище у родственников ее бывшего шефа, у которого была огромная и малоиспользуемая квартира на Староместской площади, напротив памятника Яну Гусу. Они предполагали, что Китти в конце концов выйдет замуж за сорокапятилетнего холостяка, который был влюблен в нее с тех пор, как она еще подростком пришла работать в его фирму, и предложили нам комнату. Ее бывший шеф долгие годы ждал, когда она вырастет, Он даже отсидел в тюрьме два года за то, что его поймали, когда он возвращался из гетто после одного из визитов к Китти и ее родителям в Терезин. По крайней мере, на какое-то время у нас была крыша над головой.

В отличие от Китти, я не была способна реагировать на доброту и заботу людей, но отчаянно нуждалась в их обществе.

Бюрократия сводила меня с ума. Недели ушли на то, чтобы получить копии документов. В одной экспортной фирме мне предложили место помощника, знающего несколько языков. Это казалось очень заманчивым, учитывая то, что я бы тут же уехала. Когда я подала заявление на получение паспорта, оказалось, что необходимо предоставить доказательство того, что в переписи от 1930-го года я значилась чешкой. Через две недели по почте мне пришло уведомление, что отец записал меня немкой. Я с отвращением разорвала эту бумажку, которая мешала мне получить паспорт, несмотря на то, что я была гражданкой этой страны, родилась в Чехословакии, а на момент переписи мне было всего десять лет. Позже я предоставила доказательство обучения во французских школах, которые приравнивались к чешским, но к тому моменту должность помощника была уже занята.

У меня не было желания искать другую работу или вновь открывать ателье. У меня было немного денег, поэтому о них я не думала. К тому же государство платило пенсию, а тратила я мало. Я просто плыла по течению и часами бродила по улицам города. Каждое знакомое место

напоминало мне о родителях. Единственным местом, способным прогнать мою тоску, был Зал Сметаны, дом Чешского филармонического оркестра. Только музыка не несла в себе двойных смыслов.

В то же время я ходила на свидания с несколькими мужчинами. Мне претило сидеть дома и смотреть на пустую комнату. Несколько раз я попадала в немыслимые ситуации. Я часто виделась с женатым мужчиной, бывшим другом Джо. Его мать тоже была в Терезине, пока он, будучи женатым на христианке, которая родила ему двоих фактически арийских детей, спокойно жил в Праге. Он вбил себе в голову, что его покойная мать очень хотела, чтобы он женился на мне. За несколько лет до того, как я стала невестой Джо, она как-то сказала ему, что я – именно та девушка, которую ему стоило взять в жены. Его намерения были мне глубоко безразличны, как и чувства его жены, которая, узнав, где и с кем ее муж проводит время, пыталась покончить с собой. Вероятно, слова свекрови, этот недвусмысленный намек на желание иметь в невестках еврейку, не раз становились камнем преткновения в их семейных спорах. В конце концов, доктор В., мой старый друг по Терезину, положил конец этим отношениям, которые он очень не приветствовал, заявив, что я его любовница, что было неправдой на тот момент.

Потом был длинноволосый словацкий партизан с щегольскими усами а-ля Сталин, который раззадоривал меня с моей тягой к тайнам подполья, но он оказался скорее глупцом, чем героем. И еще было несколько увлечений, связанных с моими влюбленностями в 16 лет. Тогда эти молодые люди произвели на меня сильное впечатление, и теперь чувства вспыхнули с новой силой. Но после нескольких свиданий оказывалось, что эти колоссы стоят на глиняных ногах, да и мыслим мы совершенно по-разному. Все они состояли в разных политических партиях и хотели, чтобы я влилась в их ряды. Я же хотела лишь снова влиться в обычную жизнь.

При президенте Бенеше<sup>67</sup>, который вернулся из изгнания, у нас было коалиционное правительство, в котором не последнее место занимала Коммунистическая партия. Ее ряды пополнили многие вернувшиеся заключенные, которым, кроме свободы, терять было нечего, – факт, которому тогда не придали значения. После предательства Мюнхена<sup>68</sup> у многих представителей моего поколения возникло ощущение, что лишь коммунизм может предотвратить повторение фашизма. Я провела не одну ночь, слушая подобные споры, особенно в кругу художников.

Мое мнение тогда еще не сформировалось, но я утверждала, что в условиях другого тоталитарного режима коммунисты заменили бы евреев буржуазией. Я сторонилась любых обязательств и никогда никуда не вступала. Общественная обстановка еще не стабилизировалась: бешеная инфляция, нехватка жилья и низкий моральный дух народа. Я настолько привыкла за последние годы исполнять приказы, что была неспособна на какую-либо инициативу. Поход в любое официальное учреждение за документом заставлял меня дрожать от страха и презрения к тому, кто им управлял. Слово «власть» превратилось в ругательство. За время пребывания в Берген-Бельзене от свойственной мне самодисциплины не осталось и следа. Работать ради денег или вещей я больше не хотела.

Еще в Целле по совету полковника М. я передала в Красный Крест список родственников, бежавших в самом начале преследований, но я понятия не имела, где они нашли убежище. Этот список разместили в посольствах большинства городов Запада. Благодаря этому мой двоюродный брат Петер Саксель узнал, что я жива.

Когда я получила письмо от Петера, я был на седьмом небе от счастья. Петер был для меня особенным. Мы оба родились в 1920 году и до пяти лет, пока он с родителями не переехал

---

<sup>67</sup> Эдвард Бенеш (1884–1948) – второй президент Чехословакии, в период Второй мировой войны руководил чехословацким Сопротивлением.

<sup>68</sup> Имеется в виду Мюнхенский договор или Мюнхенское соглашение 1938-го года, заключенное между Германией, Великобританией, Италией и Францией, которое фактически позволило Гитлеру аннексировать Судетскую область, входящую в состав Чехословакии.

в Братиславу, мы много играли вместе. Наша семья постоянно навещала отца Петера, Эмиля Сакселя, любимого брата мамы и моего любимого дядюшку, который появлялся у нас довольно часто, когда приезжал в Прагу по делам. Последний раз я видела дядю Эмиля в 1939-м, перед свадьбой. Он сказал, как счастлив, что Петер – в Леоне. Петер уехал учиться перед вторжением немцев. На родину он вернуться не мог, да и не был так глуп, чтобы пытаться это сделать. Через Кубу он попал в США и надеялся, что родители и младший брат последуют его примеру.

Осенью 1945 года, когда я держала в руках конверт с обратным адресом Петера, я уже и не надеялась когда-нибудь связаться с родными. Читая его письмо, я так живо смогла представить, какую радость он испытал, когда друг сказал ему, что его разыскивает Консульство Чехословакии, и какое разочарование его постигло, когда он узнал, что его ищут только я, а не родители или брат.

Родителей и брата Петера депортировали из Братиславы, и они бесследно исчезли в концлагерях Восточной Европы. Во время нашей переписки я с горечью поняла, что Петер никогда не вернется в Чехословакию, даже для того, чтобы восстановить права на имущество, но мне ужасно хотелось увидеть его. Видимо он, как и я, пытался забыть недавнее страшное прошлое и решил начать жизнь с чистого листа. Но одно дело – решить и совсем другое – сделать, ведь воспоминания и вопросы, почему кому-то удалось выжить в той чудовищной фабрике смерти, не дают покоя.

## Глава 32

С осенью пришли плохая погода и девальвация чешской валюты. Первое обстоятельство вынудило меня прекратить бесцельные блуждания по городу, а второе обесценило мои денежные запасы до одной десятой их прежней стоимости. Наши счета заморозили, но бывшие узники все же могли снимать деньги в случае крайней необходимости. Мне по-прежнему платили пенсию, но приходилось экономить.

Финансовый вопрос и невозможность бродить по улицам заставили меня найти работу. Мне не было сложно на новом месте, но было до смерти скучно. Однако там хорошо платили, главным образом потому, что владелец фирмы был польщен тем, что на него работает бывший владелец довольно известного ателье. В это же время я то и дело встречала наших бывших клиентов, которые, спросив меня о маме, неизменно интересовались, как скоро я планирую вновь открыть свое дело. С тех пор как я уехала, они не покупали новую одежду и считали, что мне не подобает работать на кого-то. Я же, в свою очередь, избегала любой бюрократической волокиты, связанной с возвратом имущества, лицензии и ответственностью за сотрудников.

В конце концов я все же решила взглянуть на прежнюю обстановку ателье, которая теперь хранилась на складе – полуоткрытом сарае. Мебель времен Людовика XIV покрылась плесенью и разваливалась от малейшего прикосновения. Разумеется, ни тканей, ни оборудования не осталось – Мари все пустила в оборот. Только машинки, благодаря хорошей смазке, еще были пригодны к работе.

Казалось, что начинать все заново – очень тяжело. Но одна из наших прежних клиенток и хорошая подруга мамы упорно настаивала на том, что нерешительность и бездействие дочери расстроили бы Mutti. В ответ на мои протесты она предложила помещение под новое ателье, примыкающее к ее предприятию.

Она утверждала, что обладает неким влиянием в Коммунистической партии и может помочь мне вернуть лицензию. Предполагая (и совершенно верно), что на это потребуются месяцы, я позволила ей действовать на свое усмотрение. Должно быть, она расстроилась, что я не разделяю ее задора, но она познакомила меня с джентльменом, заседавшим в комиссии по возвращению еврейской собственности. Он сказал, что, несмотря на то что я не состою в Коммунистической партии, он готов мне помочь – в обмен на лыжные ботинки Джо. Все комиссии состояли из четырех человек, каждый из которых принадлежал к одной из партий правящей коалиции и работал по принципу «ты – мне, я – тебе».

Через несколько недель ожиданий мой человек сообщил по секрету, что обработка заявок идет с ужасными задержками и на данный момент они решили «не спешить с возвращением предприятий евреям». Я так и не поняла, это была позиция только Коммунистической партии или всей комиссии в целом. Но очевидно было одно: немецкая оккупация не прошла бесследно и оставила наследие антисемитизма, пусть и не столь открытого. И даже в Союзе освобожденных политических заключенных между возвращенными на родину евреями и христианами была проведена тонкая грань.

Однако, если судить по огромному количеству новых, смешанных браков, на население в целом это не повлияло. Многие из вернувшихся вдов и вдовцов не стремились к новым отношениям. Им было тяжело без своих семей, и все вокруг напоминало о прежней жизни. Горькие воспоминания, а также акцентирование официальных СМИ на том, что нас освободили русские, что не сулило в будущем ничего хорошего, подталкивало их к эмиграции. Они начали уезжать, предпочитая растить детей в стране с менее уязвимым географическим положением.

Лихорадка браков и эмиграции обошла меня стороной. Первое замужество я считала неудачным и твердо решила больше не выходить замуж. Я была неспособна или просто боялась привязаться к кому-нибудь. А что касается эмиграции, то, несмотря на положение, в котором

я оказалась, корни мои были в Праге. Я по-прежнему верила в порядочность этой нации, особенно во главе с президентом Бенешом и всеми обожаемым министром иностранных дел Яном Масариком, представлявшим Республику Чехословакию в ООН.

Эти два «символа» довоенного государства «наводили мосты с Западом», и многие верили, что они добьются успеха, ситуация в стране стабилизируется, а власть коммунистов ослабнет. Полковник М., с которой мы поддерживали связь по переписке, предложила мне переселиться в Южную Африку (ЮАР), но все, что я знала об этой стране, наводило меня на мысли об антисемитизме. И я отбросила эту идею.

Постепенно я начала ощущать себя легкой добычей для каждого встречного мужчины. Возможно, нуждаясь в человеческом тепле, я и сама бессознательно способствовала этому. Казалось, будто за любой ужин или приглашение в театр я должна была платить ночью, проведенной в чьей-то постели, и мало того – чувствовать себя польщенной этим. Чтобы переломить ситуацию, я купила щенка, жесткошерстного фокстерьера, похожего на убитого Томми. Я повсюду брала его с собой, даже на работу, где он, к ужасу клиентов, наделал луж по всему полу, но хозяину, который приходил лишь раз в неделю, чтобы забрать квитанции, было все равно. Моя терапия сработала. Однако я слишком сильно привязалась к этому маленькому существу и очень боялась, что ему причинят вред в мое отсутствие. Когда подвернулся случай, я подарила его детям шефа.

Однажды мне позвонил старый друг по Терезину. Его об этом попросил наш общий знакомый Карел, дружелюбный жандарм, постеснявшийся набрать мой номер. Он просил о встрече. Приехав в ресторан, я начала искать глазами человека в униформе, как вдруг мне навстречу вышел высокий худощавый блондин в темно-синем костюме, с жемчужной булавкой на галстуке. Мы сели за столик, немного скованные, затем последовали удивления по поводу того, как изменились наш внешний вид и положение.

Отвечая на вопросы Карела, я кратко рассказала о своих приключениях. Чуть позже он, колеблясь, объяснил причину нашей встречи. Карел узнал, что мой муж погиб, и решил, что мы могли бы начать встречаться, а потом, если все получится (тут он покраснел), мы могли бы пожениться. Карел говорил абсолютно серьезно и, следуя богемской традиции, заверил меня, что будет обо мне заботиться. Он ушел из жандармерии и купил себе довольно большую ферму, такую большую, что пришлось нанять людей в помощь.

Карелу и не нужно было убеждать меня в том, что он богат, – я уже успела заметить на его руке кольцо с крупным бриллиантом. «Еврейская собственность», – промелькнуло у меня в голове, но я промолчала. В конце концов, он помог многим людям и был ко мне очень добр. Но его предложение показалось мне совершенно неуместным, хотя я знала одну девушку из Терезина, которая сразу же по окончании войны вышла замуж за «своего» жандарма и уже ждала ребенка. Но ранить чувства Карела я не хотела и сказала, что польщена его предложением, однако твердо решила больше не выходить замуж. Когда же он начал возражать против столь поспешного для двадцатипятилетней девушки решения, я ответила, что все это не имеет никакого значения, поскольку по закону я все еще замужем. Это была чистая правда. Если бы я нашла свидетеля гибели Джо, то получила бы документ о его смерти через полгода, а без доказательств процесс мог затянуться. На прощание Карел сказал:

– Я подожду, а пока мы можем быть друзьями.

От него же я узнала, что Гонза вернулся, но сейчас с туберкулезом лежит в государственной больнице. Учитывая, что ему было немногим больше тридцати, я была рада узнать, что он выжил, и вскоре навестила его. Новость о том, что у него последняя стадия болезни и надежды на выздоровление нет, поразила меня. Гонза едва смог улыбнуться, когда я взяла его за похожую на скелет руку. Он еле говорил сквозь мучительный кашель, из-за которого, казалось, выплюнет всю кровь, оставшуюся в его истощенном теле. Почему, почему этот прекрасный человек, который мог бы столько дать миру, умирает теперь, когда все уже закончилось?

Почему судьба столь своенравна и всегда убивает лучших из нас? Эти мучительные мысли терзали меня, и я рыдала снова и снова, как тогда в Терезине, после отъезда родителей.

Вскоре в приемной врача, к которому я ходила с различными жалобами, я повстречала Марго. В слезах мы бросились друг другу в объятия и мгновенно вспомнили пророчество старушки из гетто. Пленение Марго закончилось в Маутхаузене, в Австрии, где ее, полуживую, обнаружил чешский полковник, который и сам почти шесть лет провел в заключении. Несмотря на то что она была гражданкой Германии, Марго рвалась в Прагу, где надеялась найти Артура. Полковник С. предложил ей использовать свое влияние и достать разрешение на въезд. Но, оказавшись в Праге, Марго узнала, что стала вдовой. Артур умер во время одного из маршей смерти в самом конце войны.

Марго переехала к друзьям и решила никогда не возвращаться в Германию. Она подала документы на переезд в США, где в Цинциннати жил брат ее покойного мужа. Из-за сложной системы американских квот ждать предстояло долго, что осложнялось еще и временным видом на жительство в Чехословакии. Его необходимо было подтверждать ежемесячно, что действовало ей на нервы. На момент нашей встречи у нее были отношения с полковником С., возникшие из благодарности за то, что он помог ей вернуться в Чехословакию. Он был евреем и, по странному стечению обстоятельств, оказался единственным, кто смог рассказать мне о Джо.

В «Малой крепости» Джо поместили в одну камеру с офицерами чешской армии. Когда позже их перевели в Освенцим, Джо отправили вместе с ними, и, благодаря оплошности тюремщиков, ему удалось скрыть, что он еврей. Правда не всплыла и в Освенциме, в большей степени благодаря тому, что мать в свое время отказалась делать ему обрезание, а также из-за его нееврейского имени. Заключенные в его группе считали их с полковником С. своими и не давали немцам ни малейшего намека, что среди них есть евреи. Так Джо избегал крематория.

С приближением Восточного фронта этих заключенных, которых нацисты считали заложниками, перевели в Маутхаузен, где условия были не лучше, чем в Берген-Бельзене. Я узнала, что Джо снял золотые коронки с зубов, чтобы обменять их на хлеб, потому что его ноги распухли от голода и увеличились в три раза.

В середине марта объявили набор добровольцев на соляные шахты в Эбензее с обещанием повысить паек. Вопреки вечному военному принципу «никогда не вызываться добровольцем», Джо заглотил эту наживку.

Он умер в тех шахтах уже после того, как меня освободили из Бельзена. Казалось, он всегда играл со смертью. Вместе с Джо исчезла и вся его семья, будто их никогда и не было на свете. Я уже давно знала, что мой муж мертв, но подробности его смерти поставили точку во всей этой истории. До этого момента я вопреки всему ждала, что однажды он с широкой улыбкой войдет в комнату и поведаст о своем невероятном спасении.

С родителями было иначе. Я разговаривала с бесчисленным количеством людей и задавала море вопросов, но так и не смогла найти ни одного выжившего из их поезда. Во всех документах было указано, что их отправили в Ригу, но это могло означать любой лагерь неподалеку от нее. Вопреки здравому смыслу, в глубине души я не могла поверить, что их больше нет. Я все еще не могла смириться с тем, что это правда.

Мы с Китти по-прежнему жили вместе в одной квартире, но чем меньше мы нуждались в защите, тем больше отдалялись друг от друга. Если не считать нескольких общих друзей, мы общались с совершенно разными людьми. Меня больше привлекало общество художников и интеллектуалов, а Китти всеми силами пыталась вернуться к довоенному образу жизни и предпочитала богатую, стремящуюся к удовольствиям толпу.

Китти не желала разговаривать с бывшим женихом Иваном даже по телефону, поэтому ее вещи пришлось забирать мне. Приехав к нему, я не смогла удержаться от язвительного вопроса: зачем же в декабре он написал столь пылкое любовное письмо, которое сделало бы

честь любому поэту, а в феврале женился на другой? Мне казалось, что он, живя в Праге, знал, что конец войны уже близок, и мог бы дождаться Китти.

С явным смущением Иван ответил, что это не мое дело, но он считал Китти очень больной, и было бы безумием думать, что однажды она станет матерью его детей. Должно быть, он и правда был в этом убежден, потому что вся одежда Китти уже была подогнана под размер его жены. Они даже не потрудились отдать ее в химчистку.

В ноябре 1945 года после трех месяцев, проведенных в квартире начальника Китти, его семья начала настаивать на том, чтобы назначить дату свадьбы. Последовала ссора, в ходе которой Китти заявила, что никогда не была помолвлена с начальником и в любом случае она не собирается ни за кого замуж – ни сейчас, ни в обозримом будущем.

После этого нам спешно пришлось переехать.

Китти нашла угол у дальнего родственника отца, который владел квартирой-студией. В ней было место только для одного. Несколько недель я скиталась по друзьям и порой не знала, где проведу ночь, пока старый добрый доктор В., уезжая в небольшой городок, чтобы подменить заболевшего коллегу, не предложил мне пожить у него. Квартира принадлежала ему еще до войны, и у него получилось вернуть ее. Мебель из квартиры исчезла, и вся обстановка состояла из нескольких чемоданов, использовавшихся как кофейный столик, и раскладушки. Радуюсь, что теперь у меня есть крыша над головой, я купила диван и въехала.

На самом деле эта поездка была для доктора В. скорее бегством из Праги, чем необходимостью. Мы познакомились еще в Терезине, когда он был клиентом почты Джо. Он был обручен с христианкой, своей бывшей операционной медсестрой. В гетто из-за непоколебимой верности невесте он стал почти легендой и пережил много насмешек из-за своей средневековой преданности. Доктор В. доверял мне, и я слушала бесконечные оды о характере его дамы сердца. Более того, доктор В. был сторонником идеи ассимиляции и довел ее до крайности. Он утверждал, что евреи могут спастись, только растворившись в общей массе населения, и ссылаясь на брак своей тети с известным чешским художником. Еще он считал, что еврейки относятся к мужьям как к собственности.

Не успел доктор В. вернуться в Прагу, как из больницы до него дошли слухи, что его возлюбленная три года жила с офицером СС. Этот немец управлял больницей, а во время мятежа его арестовали у нее в квартире. Поначалу доктор В. отмахнулся от этого как от сплетни, но в конце концов спросил об этом у самой Ярмилы. Та сказала, что под страхом ареста или еще чего похуже была вынуждена вступить в отношения с немцем.

Глубоко уязвленный, доктор В. не был уверен в правдивости ее слов и с головой погрузился в работу, продолжая время от времени встречаться с Ярмилой. В таком состоянии я и повстречала его, вернувшись в Прагу. Я слушала, как он мучительно пытается найти верное решение, и понимала, что он влюблен в образ Ярмилы, который не имеет никакого отношения к реальной женщине. В конце концов ум и великодушные доктора В. взяли верх над уязвленными чувствами, и он дал ей второй шанс. Однако договоренность с собой не удалась, и он сбежал в провинцию.

Я была рада обрести крышу над головой, но с отъездом доктора В. я лишилась любимого компаньона для походов на концерты. Я сильно привязалась к нему. В какой-то степени это произошло потому, что у него, как и у большинства выходцев из концлагерей, которые на момент заключения разменяли четвертый десяток, был устоявшийся набор ценностей, и он смог остаться верным себе. Моя же вера в людей пошатнулась, и я стала циником.

Я находила утешение в музыке Густава Малера. В ней я видела отражение своей души, мятущейся между бурными всплесками энергии, надеждой на будущее и глубоким отчаянием. Я очень хотела быть независимой, самодостаточной, свободной женщиной. И все же, не доверяя собственным суждениям, я продолжала искать кого-то, кто заменил бы мне отца. Мужская сторона моей натуры, которую всегда поощрял отец, за годы заключения лишь окрепла, ведь

мне приходилось оберегать Китти, жить и работать, словно солдату в бою, если не тяжелее. Это проявлялось в моих движениях, даже голос стал ниже.

Впервые за долгие годы я жила одна. Мне нравилось уединение, но оно влекло за собой размышления о прошлом. В какой-то момент я неизвестно почему начала думать, что причастна к убийству родителей. Благодаря удаче и силе воли я исполнила обещание – я выжила, но продолжала упрекать себя в том, что, сделай я тогда больше, мои родители были бы спасены. Хотя я и не представляла, как могла бы им помочь.

Близилось Рождество, но из гордости я отказалась от нескольких приглашений, которые казались мне сродни кости, брошенной голодной собаке. Выпал снег, и я смотрела на стоявшие в углу лыжи и ботинки – те немногие вещи, что мне вернули. Я надеялась сбежать из города, наполненного воспоминаниями, в горы.

В канун Нового года я несколько часов провела там, где в моменты грусти мне было лучше всего – в горячей ванне. И вдруг из дыры в стене появилась маленькая мышка. Она пробежала по краю ванны, приблизилась ко мне. Потерянная и не знающая, куда двинуться дальше, она олицетворяла мое существование. Мы долго смотрели друг на друга, а потом она вернулась в свою норку. Неожиданно для себя я восприняла это как последнюю невыносимую потерю и спешно покинула квартиру, решив все же пойти на праздник. Но вместо этого я спустилась по узким улочкам Старого города к реке, а оттуда направилась на нижнюю набережную, которая весной и летом превращалась в некую аллею влюбленных, где я впервые поцеловалась девять лет назад.

Я подошла к ступеням, ведущим к воде, и большим железным кольцам, к которым привязывали лодки. Внезапно на меня нахлынуло яркое воспоминание о том, как в пять лет *mademoiselle* вела меня домой с урока физкультуры. В тот день я впервые увидела выловленного из реки утопленника, он был привязан к этому самому лодочному кольцу. Должно быть, он пробыл в воде долго, потому что стал зеленым, скользким, и от него несло тухлой рыбой и гнилью. Я протиснулась вперед сквозь ноги зевак и довольно долго смотрела на него, пока гувернантка не осознала, что это не самое подходящее зрелище для маленькой девочки.

В следующую ночь мне приснился кошмар: утопленник из сна превратился в водяного, персонажа чешских сказок, который заманивает к себе невинных девушек и утаскивает их на дно. Служанки часто пугали меня и говорили, что если я буду плохо себя вести, то он придет и заберет меня. Спустя двадцать лет его образ вновь ожил. Он звал меня по имени и рассказывал, как темно и тихо под водой. Я как вкопанная стояла на берегу любимой реки, смотрела на проплывавшие мимо льдины и вспоминала, как часто каталась на коньках недалеко отсюда и как любила купаться у противоположного берега. Вода казалось холодной, но спокойной, а отблески фонарей плясали на ее поверхности, словно маленькие звездочки.

Я почувствовала чью-то руку на плече. Седовласый полицейский сказал:

– Мисс, это не лучшее место для одиноких прогулок в полночь. Очень уж холодно. Где вы живете? Я провожу вас домой.

Словно очнувшись ото сна, я позволила увести себя и в изнеможении рухнула на кровать.

А на следующее утро наступил первый день нового, 1946 года. Проснувшись с ясной головой, я собрала сумку, взяла лыжи и, сев на первый же поезд в горы, прибыла на место после обеда. На другой день я, немного нервничая из-за того, как буду кататься после шести лет перерыва, поднялась по гондольной дороге на вершину.

Пики гор были одеты в самые праздничные наряды. На небе было ни облачка, а на соснах лежал свежевывающий снег. Вокруг не было ни души, и никто не мог нарушить внезапную близость, которую я ощутила, со Вселенной. Я с благоговением взглянула на окружавшую меня красоту, словно созданную специально для меня. Если Бог существует, то именно там я ощутила его присутствие, как и благодарность за то, что осталась живой. Я пристегнула лыжи и, насвистывая последнюю часть моей любимой симфонии Брамса, помчалась со склона.

#####

Китти и Фрэнси после освобождения, июль 1945

Радиограмма: NLT<sup>69</sup>

Петеру Сакселю Хохвальту Нью-Йорк:

ВЫШЛИ СВОЙ АДРЕС ТЧК ИЗ ВСЕЙ СЕМЬИ ОСТАЛАСЬ ОДНА Я ТЧК ПОЖА-  
ЛУЙСТА НАПИШИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ТЧК ТВОЯ КУЗИНА ФРЭНСИС СОЛАР  
ПРАГА СТАРОМЕСТСКАЯ 15

Октябрь 45-го, телеграмма Петеру Сакселю

---

<sup>69</sup> Так помечали телеграммы, отправленные ночью по льготному тарифу.

## Послесловие

Весной 1946 года Фрэнси Солар начала собирать документы, разрешения и принялась искать персонал для нового ателье. Она написала двоюродному брату Петеру, служившему в армии США, и попросила его прислать ей ткани и последние номера «Воуг» и «Харперс Базар». Открытие было намечено на осень, в августе она хотела отдохнуть на водах в Словакии. Но в июле она написала ему, что выходит замуж.

*«... Все произошло так быстро, за неделю... Его зовут Курт Эпштейн... Ему сорок два, он на голову выше меня и очень красивый (он известный спортсмен, родственник семьи Петчек). Я знаю его с двенадцати лет – он тренировал меня в кружке плавания, и я всем сердцем ненавидела его, потому что он был таким неприятным человеком, и мы считали его ужасным и заносчивым. Но оказалось, что мистер Эпштейн вовсе не такой уж неприятный...»*

Курт Эпштейн был среди той тысячи евреев-мужчин, которых в декабре 1941-го отправили в Терезиенштадт. Прежде чем выйти в отставку в чине лейтенанта Армии Чехословакии, он служил в Терезине и вскоре по возвращении туда в качестве узника был назначен одним из восьми старшин. В отличие от торговца на черном рынке Джо Солара, он заботился о том, чтобы еда, которую он распределял, попадала в рот к заключенным. Его родителей отправили в Освенцим тем же поездом, что и Фрэнси, но они там погибли. Как и Фрэнси, доктор Менгеле отправил его в принудительный рабочий лагерь, и из всей семьи выжил только он.

*«Он чудесный человек, и его взгляды на женщин довольно старомодны, – писала Фрэнси Петеру в сентябре, – что хорошо, ведь в отличие от мужчин помоложе он очень честный. И он любит меня, но это не мешает ему видеть мои недостатки. Наши отношения совсем не похожи на те, что были в первом браке, когда муж идеализировал меня и позволял совершать разного рода глупости. В конце концов я возненавидела его за слабость и перестала уважать. Кажется, Курт не повторит этой ошибки и сохранит надо мной определенную власть. Хорошо, что он на шестнадцать лет старше. Знаешь, мои подруги так рады за меня. Я всегда была enfant terrible, и все знакомые рады, что наконец-то нашелся человек, которые не позволят мне вить из себя веревки.*

*Что касается финансов, Курт зарабатывает достаточно, но я хочу иметь собственный бизнес. Я не хочу, чтобы круг моих интересов замкнулся на домашнем хозяйстве. И никогда не знаешь, что случится, да и было бы безумием отказаться от моей клиентуры. Сидя дома, я буду ужасно несчастна, а Курт знает, что у меня слишком много жизненной энергии, чтобы мои цели свелись лишь к вытиранию пыли».*

Китти умоляла Фрэнси выйти за Курта, хотя он и не был мужчиной ее мечты. Остальные думали, что она совершает ошибку. Он был провинциалом, засыпал на концертах и, несмотря на все мастерство пловца, совсем не катался на лыжах. Уже позже подруга Фрэнси Хелена признавалась мне, что ей казалось, что Курт будет хорошим мужем, но она не верила, что Фрэнси любит его. Он не знал другого языка, кроме чешского, и не отличался особенной смекалкой.

Они поженились в Новоместской ратуше Праги 21 декабря 1946 года и, получив ссуду за дом Эпштейна в Роуднице-над-Лабем, купили квартиру на Вацлавской площади. Фрэнси открыла ателье в доме номер 20 на Староместской площади. Она писала Петеру, что у нее работает семь швей, она собирается в Париж, чтобы посмотреть коллекции, а Курт получает хорошее жалованье в компании своего товарища по несчастью. Он тоже тренировал национальную команду по водному поло и был членом Олимпийского комитета. И... она ждала ребенка.

*«Дорогой дядя, – писала Фрэнси 9 января 1948 года. Теперь я настоящая безумная мамаша... У Хелен будет няня, но, пока ее нет, я все делаю сама. Сейчас ребенку нужно немного, да и никто не сможет кормить ее грудью, кроме меня. Я бы хотела, чтобы в сутках было как минимум тридцать шесть часов. Но мне нравится быть матерью, и я уже решила (вместе с мужем, разумеется), что мы родим еще детей... Мне все еще нравится бывать на танцах или в театре, но стоит мне уйти, я начинаю беспокоиться, не плачет ли там моя малышка. Хорошо, что я кормлю грудью, так как у нас ужасный дефицит молока...»*

Январь стал последним месяцем существования демократии в Чехословакии. Нехватка молока была вызвана засухой, ставшей следствием советской политики, доведшей сельское хозяйство Чехословакии до состояния кризиса. Он постиг и правительственную коалицию. Коммунистическая партия устраивала массовые демонстрации. В Прагу прибыл советский посол. 25 февраля президент Эдуард Бенеш назначил новое коммунистическое правительство.

Ни в одном письме Петеру родители не говорят о желании эмигрировать. Семейное предание гласит, что Курт, наблюдая за вооруженными солдатами, марширующими по улицам, назвал их «нацистами в разноцветной униформе» и поклялся, что не совершит снова той же ошибки и не останется в стране. Фрэнси говорила, что она никуда не поедет. Ей тогда только исполнилось 28. Она только восстановила ателье. У нее на руках была трехмесячная дочь. И тогда в первый и единственный раз за все прожитые вместе годы отец дал ей пощечину.

В ярости Фрэнси выбежала на мороз. Но вернулась. Все сомнения касательно эмиграции развеялись 10 марта, когда во дворе Министерства иностранных дел Чехословакии под окнами своего кабинета было найдено тело Яна Масарика, надежды демократов.

Тысячи чехов уехали немедленно. К счастью, Курт Эпштейн подал документы на американскую визу еще в 1945-м, когда только вернулся из лагеря. В марте 1948-го во время поездки во Францию с национальной командой по водному поло Курт телеграфировал в Нью-Йорк своей сестре Франси Петчек. Она вышла замуж за банкира, который в 1938 году эвакуировал членов своей семьи на специальном поезде. Эпштейнам тоже предлагали покинуть Чехословакию на том поезде, но они отказались.

Родители вылетели из Праги 21 июля 1948 года с двумя чемоданами, а меня обернули в холщовую сумку. Фрэнси надела на себя все что смогла. Вместе с пеленками она упаковала семейные фотографии Эпштейнов и Рабинек и три фарфоровые фигурки, принадлежавшие ее матери.

Всякий раз, когда я спрашивала ее о прибытии в Нью-Йорк, она отвечала, что на улице было больше 100 градусов<sup>70</sup>, полет занял 26 часов, а из десяти долларов, которые им разрешили взять с собой, Портовое управление Нью-Йорка забрало восемь. Петчеки поселили их в отеле «Колониаль», напротив Планетария на Манхэттене в Верхнем Ист-Сайде. Она никогда не рассказывала о том, что чувствовала в тот момент.

Подруга Фрэнси Хелена Славичкова предсказывала, что в случае их эмиграции спортивная репутация Курта останется в Европе, и Фрэнси самой придется обеспечивать семью. Она оказалась права. Курт Эпштейн не говорил по-английски. Он не мог найти работу. Петчек не любил нанимать родственников. На Манхэттене было не так уж много бассейнов, и нужды в тренерах по водному поло не наблюдалось.

Фрэнси обратилась за помощью к пражскому акушеру, доктору Карели Стейнбачу, который тоже эмигрировал и теперь возглавлял чешскую общину Манхэттена. Через две недели доктор Стейнбач нашел ей прекрасную клиентку – чешское сопрано Ярмилу Новотну, которая пела в Метрополитен и которой нужен был портной. Работать в отеле «Колониаль» было запре-

---

<sup>70</sup> 37 градусов по Цельсию.

щено, поэтому Фрэнси нашла дешевую квартиру в полуподвале, купила швейную машинку и снова начала работать.

Первые десять лет в Штатах дались родителям нелегко. Хотя Фрэнси часто говорила, что чешское общество Манхэттена было куда интереснее того, в котором они вращались в Праге, она страдала от серьезных проблем со здоровьем. В пятидесятые она была кормилицей, поваром, домохозяйкой, матерью и женой. В 1951-м она перенесла тяжелые роды моего брата Томми. Финансовое положение родителей было шатким: они жонглировали ежемесячной арендой за жилье и кредитами в ателье, пытаясь поддерживать уровень жизни среднего класса. Чуть не умерев от голода в лагерях, родители настаивали на ежедневном употреблении мяса. Фрэнси настаивала и на посещениях концертов и театров. В 1956-м у нее случился нервный срыв, настолько серьезный, что потребовалось длительное лечение у психоаналитика. Ее двоюродный брат Петер, на тот момент уже преуспевающий химик, помог оплатить лечение.

Курт потихоньку учил английский и периодически брался за черную работу. Он был любящим отцом, но мало чем мог помочь в готовке и уборке. Как и отец Фрэнси, Эмиль Рабинек, он помогал жене, ведя ее бухгалтерию. В конце концов, он смог присоединиться к Международному союзу швейных работниц и устроился резчиком в Текстильный центр Манхэттена.

В 50-е и 60-е Фрэнси переписывалась со своей сестрой и подругами, выжившими в лагере. Китти осталась в Праге, Марго жила в Иерусалиме. Прочих жизнь забросила в Израиль, Северную Америку и Австралию. Иногда я видела одну из них у нас в гостиную. Кажется, это была Хана Гринфельд или Лили Райзен. Затем в 1964 году после длительных судебных разбирательств Фрэнси получила компенсацию от немецкого правительства и на эти деньги навестила тех, с кем прошла всю войну: Китти и Марго.

С 1948 года Китти вместе с сыном и мужем жила в крошечной квартирке в центре Праги. Даже в сером коммунистическом мире она оставалась яркой и общительной и, чтобы быть похожей на голливудских старлеток, перекрасилась в блондинку. Она вышла за Курта Айгера, тоже бывшего узника, и родила сына. Зная немецкий, французский и английский, она работала секретарем-переводчиком сначала в экспортной фирме, а потом у главного раввина Праги. После смерти мужа она жила с чешским протестантом, разделявшим ее радостное восприятие жизни. Когда я навестила ее в Праге, она почти не говорила о войне, но шрамы на ее теле были не только от нарывов, с которыми она боролась в Гамбурге.

У Марго, которая жила вместе с родителями в квартире на Вацлавской площади, когда я появилась на свет, были другие трудности. После освобождения из Маутхаузена она вернулась в Прагу вместе с чешским полковником, узником того же концлагеря. Но, будучи бывшей гражданкой Германии, она не смогла остаться в Чехословакии, выславшей немецких элементов. В 1949 году она эмигрировала в только что созданное государство Израиль, где познакомилась с берлинцем по фамилии Бир. Удивительно, но эти двое жили в старом арабском доме на территории французского монастыря в иерусалимском Эйн-Кереме. Несколько лет она работала в магазине одежды, детей у нее не было, и она стала моей второй мамой, когда я училась в университете в Иерусалиме. Тогда она многое поведала мне об их с мамой отношениях во время войны.

Выжившие чешские еврейки поддерживали тесную связь. Они обменивались текущими новостями из жизни и историями военных лет, кто что кому сделал и что это означает теперь, когда война закончилась. Они обсуждали трансляцию слушаний по делу Эйхмана<sup>71</sup> в 1961-м, все фильмы о войне: «Ночь и туман» (1959), «Нюрнбергский процесс» (1961), «Ростовщик» (1964), «Магазин на площади» (1965) – и каждую прочитанную книгу. Вероятно, Фрэнси

---

<sup>71</sup> Отто Адольф Эйхман (1906–1962) – оберштурмбаннфюрер СС, заведовавший отделом гестапо, который отвечал за «окончательное решение еврейского вопроса». После окончания войны бежал в Южную Америку, где его и обнаружили агенты израильской разведки МОССАД. Эйхмана перевезли в Израиль, где его судили и приговорили к высшей мере.

была самой начитанной среди подруг. В Праге она посещала французскую, немецкую и английскую школы и была знакома с классической литературой этих стран. Еще она любила русских писателей. Каждое воскресенье она читала «Нью-Йорк таймс бук ревью» и заказывала книги из Нью-Йоркской публичной библиотеки. Она любила романы Владимира Набокова, а среди авторов, переживших концлагеря, она обожала Примо Леви<sup>72</sup>.

Я не знаю, читала ли она книги Ольги Ленгиел, Джизеллы Перл, Владки Мид и других женщин, прошедших через концлагеря и опубликовавших автобиографии в конце сороковых, но я точно помню, что в 1961 году она купила автобиографический роман Здены Бергер «На следующее утро». В 1964 году «Таймс бук ревью» опубликовало рецензию на перевод романа Ильзе Айхингер «Иродовы дети», основанный на ее воспоминаниях о детстве, которое она, будучи наполовину еврейкой, провела в оккупированной Вене. Так Фрэнси узнала, что ее двоюродная сестра Ильзе стала в Австрии известной писательницей. Она написала ей и восстановила контакт с австрийской ветвью Рабинеков, ныне разбросанной по миру, которые считали ее погибшей. На протяжении последующих десятилетий она вновь и вновь рассказывала им свою историю.

Я не знаю, когда Фрэнси задумала написать эту книгу. Возможно, она никогда не переставала думать о той тетради писем к матери, которую она вела в Нойграбене и которую ее заставили сжечь постранично. В середине 50-х она рассказала многое из того, что происходило с ней в лагере: сначала враждебно настроенному немецкому доктору, который оценивал нанесенный ей за время войны вред с целью назначения компенсации, а затем расположенному к ней американскому психоаналитику. В феврале 1974-го она пересказала их в хронологическом порядке для уникального в то время проекта Вильяма Е. Вьенера «Устная история американских жертв холокоста», для которого на аудиопленку было записано более двухсот свидетельств. Ей тогда было чуть больше пятидесяти.

Возможно, именно это возвращение к пережитому подтолкнуло Фрэнси к тому, чтобы завершить свои мемуары. Она назвала их «Туда и обратно» – едкая отсылка к тому путешествию из Праги в Терезин, затем в Освенцим, Гамбург, Берген-Бельзен, Целле и, наконец, снова в Прагу, которое она совершила во время Второй мировой. В предисловии, которое Фрэнси озаглавила как «Объяснение», она пишет: «Почему я чувствую, что должна отдать свой голос великому хору, состоящему из статистических данных, отчетов, психологических исследований и в разной степени успешных осмыслений в литературе и кино? Я не знаю, но, возможно, так я забочусь о своих детях и их поколении, которые кажутся мне такими же беспокойными, какой когда-то была и я. Их раздражает существующее положение вещей, и они ищут утешение в наркотиках.

Как только дочь заметила татуировку у меня на руке, она начала задавать вопросы и с тех пор не отставала. Может быть, это вызвано и естественным для девочки отождествлением с матерью. Сыновья никогда не проявляли особого интереса к этой теме. Когда мы касались этого вопроса, они выказывали едва заметное раздражение или скуку.

Дети зачастую ничего не знают о внутренней жизни родителей, о том, что ими движет и какой отклик в них вызывают те или иные события. Я не могу оставить им состояние, но могу попытаться нарисовать честный портрет их матери в молодости и рассказать о том, как я справлялась с жизненными трудностями. Возможно, это даст им понимание природы человека и ужасно развращающей силы власти в руках тех, кто узурпировал ее при содействии равнодушного, запуганного и недовольного населения.

Решающим фактором стала поездка в Колорадо к друзьям, чьи предки обосновались на Западе. Я оказалась среди молодых людей, далеких от событий тех лет. В колледже они изучали историю 20-го века. Факты о Второй мировой поразили их воображение, и они завалили меня

<sup>72</sup> Примо Леви (1919–1987) – итальянский поэт, прозаик и переводчик еврейского происхождения.

вопросами о том, что пережили непосредственные участники этого безумия. Их не сдерживала деликатность старших, и они убедили меня, что их поколение действительно хочет знать, что же со мной произошло, и попытается поставить себя на мое место. Как и мои дети, они отчаянно пытались найти *raison d'être*<sup>73</sup> в мире, полном несправедливости, насилия и угнетения. Они участвовали в политических акциях протеста, уклонялись от призыва в армию или бежали от реальности. И тогда я подумала, что, возможно, если бы мои современники, особенно в Германии, высказывали бы свои сомнения и мысли более осмысленно и убедительно, то, может быть, мы бы избежали массового истребления и террора гитлеровской эпохи».

В 1973–1974-х годах, когда, как мы думаем, Фрэнси заканчивала свои воспоминания, Германию по-прежнему разделяла Берлинская стена. Ричард Никсон всеми правдами и неправдами пытался усидеть в президентском кресле после слушаний в сенате по поводу Уотергейтского скандала. Движения за права человека, феминистки и война во Вьетнаме разделили Америку. А в Израиле в 1973 году «война Судного дня» вновь поставила под вопрос существование евреев (и, в частности, Марго). Фрэнси и ее клиенты обсуждали эти вопросы во время примерок. Среди них были и беженцы с похожими историями. Но были и американцы, не имеющие никакого отношения к Европе или евреям.

Как и в Праге, Фрэнси и ее клиенты доверяли друг другу. Все знали, что она прошла через концлагерь. Некоторые предпочитали не говорить об этом, но все видели ее татуировку из Освенцима. Возможно, одна из любимых клиенток Фрэнси, известная журналистка Мария Мэнс, упоминая ее в одной из своих книг, и уговорила Фрэнси записать свою историю. Другая клиентка, литературный агент Сирил Абельс, разослала рукопись по издательствам. В ответ пришли отказы. В 70-е годы многие американские евреи, и держу пари, что среди них были и те издатели, хотели дистанцироваться от жертв концлагерей. Преподавание истории холокоста в университетах и центры холокоста только зарождались. И только в 1978 году слово «холокост» вошло в язык благодаря всемирно известному телевизионному мини-сериалу. И хотя самый посещаемый музей в Вашингтоне – это Мемориальный музей Холокоста, открылся он лишь в 1993 году.

Еврейки были среди лидеров второй волны феминизма в США, но само движение пока не сильно повлияло на уклад еврейской общины.

По содержанию и языку «Война Фрэнси» опередила свое время. За исключением дневника Анны Франк, литература о холокосте в США была в основном представлена писателями-мужчинами. Среди них выделялся Эли Визель<sup>74</sup>, в то время «голос» тысячи жертв, которых стали называть «выжившие». Не многие писатели-мужчины еврейской общины описывали жизнь женщины во время холокоста. Уильям Стайрон, не еврей по происхождению, выпустил роман «Выбор Софи», в котором речь идет о выжившей польке. В Израиле, во многом из-за скандальных романов Ехиэля Динура<sup>75</sup>, писавшего под псевдонимом «Ка-Цетник», что означает «узник концентрационного лагеря», на жертв холокоста смотрели как на порченный товар. Чешско-израильская писательница Дита Краус, прошедшая большую часть войны бок о бок с Фрэнси, как-то сказала мне, что даже великий израильский политический деятель Давид Бен-Гурион якобы сказал:

– Каждый выживший мужчина был капо, а каждая женщина – проституткой.

<sup>73</sup> «Смысл существования» (*фр.*)

<sup>74</sup> Эли Визель (1928–2016) – американский и французский писатель еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии мира.

<sup>75</sup> Ехиэль Динур (1909–2001) – израильский писатель, чьему перу принадлежит порнографический роман «Дом кукол». Его главная героиня, еврейка по происхождению, работает в борделе концлагеря. Это одна из первых книг о холокосте, написанных в Израиле. Она во многом определила отношение к бывшим узникам концентрационных лагерей. Выступал свидетелем по делу Эйхмана.

В своей книге Фрэнси почти полностью концентрируется на переживаниях женщин. Кроме того, она смотрит на войну глазами ассимилировавшейся пражской еврейки и гордой гражданки Чехословакии. Ни она, ни ее родители не были религиозны. Она не владела идишем. Фрэнси откровенно и бесстрастно пишет о любви и сексе (в том числе и однополым) в обмен на еду. Она знала, какой вред могла нанести такая информация человеку в начале 70-х, поэтому изменила имена женщин, о которых рассказывала.

Немногие писатели способны отделить неприятие их работы от неприятия их самих, и Фрэнси не стала исключением. Отказ издательств больно ранил ее и подтвердил сомнения, что ее история никому не интересна. Она передала рукопись мне, чтобы я распорядилась ею по своему усмотрению. В конце концов, сказала Фрэнси, это же я писатель в семье.

Книга матери – это последнее, что было бы мне интересно в 1975-м. Я с детства слушала эти рассказы. Это ее история, не моя. Я хотела, наоборот, отойти от нее, а не углубляться в эту тему еще больше. Хотя мне было уже около тридцати, я не могла ни бунтовать против родителей, ни покинуть родное гнездо. Я писала книгу «Дети холокоста», пытаясь отделить свои мысли от маминых.

В 1979 году мою книгу о пережитом опыте старшего поколения, его стойкости и нашей памяти опубликовали. Это событие далось нам непросто. Мы никогда не говорили об этом, но у меня складывалось ощущение, что, хотя Фрэнси гордится первой книгой дочери-журналистки и с удовольствием продвигает ее, она чувствует, что ее собственную жизнь обошли вниманием. Она стала рассказывать истории военного прошлого на местных мероприятиях, но, как и я, не стремилась опубликовать эти воспоминания.

Весной 1989 года у Фрэнси случилась аневризма мозга. Она впала в кому и умерла не приходя в сознание.

Следующие семь лет я носила своеобразный траур – собирала информацию о ней и ее предках, которая потом превратилась в книгу «Откуда она: по следам матери». В ней я проследила историю трех поколений портных, живших в Центральной Европе, и обратилась к мемуарам «Туда и обратно» как к источнику информации о Второй мировой войне. Закончив книгу в 1997-м, я сдала мемуары и прочие материалы в архив и с головой погрузилась в новую работу.

На протяжении двадцати лет меня часто просили помочь написать или перевести воспоминания других выживших, и иногда, если материал был мне интересен, я соглашалась. Вместе с Хедой Марголиус Ковали я перевела с чешского ее книгу «Под несчастливой звездой: жизнь в Праге с 1941-го по 1968-й», которая стала важным историческим документом. Я перевела часть воспоминаний Власты Шеновой о Терезине «Я хотела стать актрисой». Вместе с Полом Орнштейном она работала над книгой «Оглядываясь назад: мемуары психоаналитика». Я также написала предисловие к книгам двух бывших узников из Канады. Мне присылали много рукописей о холокосте и просили прочесть и/или написать рецензию, но почти всегда я отказывалась, чтобы не отвлекаться от своих работ. Однако на протяжении этих двадцати лет я следила за тем, что писали о женщинах в период Второй мировой войны исследователи-феминистки.

В 2017 году мой друг рассказал о видео, которое моя мать записала для Фортуновского архива Йельского университета в 1985 году. Мы с братьями ничего об этом не знали. В том же году наша семья получила копию видео, и мы впервые его посмотрели. Тогда же «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йоркер» разразились скандалами о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна, а движение #MeToo охватило весь мир и попало в заголовки.

Просмотрев видео Фрэнсис и показав его друзьям, я перечитала мамину рукопись и поняла, что это важный первоисточник. Некоторые из тех, кого описывает Фрэнсис, были известны в семидесятых годах, и не только добрыми делами. Информацию об этих людях можно найти в «Википедии». Среди них не только Йозеф Менгеле, но и осведомительница Панкраца Марианна Гольц, заключенная-еврейка Лотте Винтер («Сильва») и надзирательница

концлагеря Аннелиза Кольманн («Буби»). Настоящее имя Шписса, нациста, который заставил Фрэнсис сжечь дневник, было Вильгельм Фридрих Клем.

Мы с братьями посоветовались и сошлись на том, что Фрэнси писала книгу для публикации, и она бы хотела, чтобы мы сделали это к 75-летней годовщине ее освобождения из лагеря. Мы решили, что я ее немного отредактирую и отошлю издателям в Европу, Израиль, Соединенное Королевство и США. Фрэнси бы обрадовалась, узнав, что рукопись приняли два крупных издательства: словацкое ИКАР и чешское «Млада Фронта».

Гомосексуальные отношения, а также торговля телом за еду, описанные в книге матери, не стали для меня сюрпризом. Я слышала эти истории, встречалась с героями ее книги, а некоторых, например, Китти, Марго и Петера, знала очень хорошо. В отличие от многих жертв холокоста, Фрэнси никогда не пыталась умолчать о своем прошлом, и многое рассказала мне слишком рано. Мой брат Томми отказался учить чешский и слушать истории выживших, которые собирались у нас в гостиную. Я же слушала, но переняла у Фрэнсис ее метод психологической защиты – абстрагирование. Я слышала слова, но отказывалась осознавать их значение.

Понадобилось написать собственные мемуары – «Долгий полураспад любви и травмы» и пройти через десять лет психотерапии, прежде чем я смогла обратиться к «Войне Фрэнси». Все детство я благоговела перед блестящей, искренней и прагматичной мамой, благоговела перед тем, через что ей пришлось пройти, и пребывала под впечатлением тех уроков, которые она из этого извлекла. Фрэнси исключили из двух элитных пражских школ (Немецкой гимназии и Французского лицея), и она часто называла лагерь «университетом», где получила уникальные знания о природе человека.

В своем «Объяснении» Фрэнси пишет:

«Однажды, обсудив непоправимый вред, нанесенный моей нервной системе, американский врач спросил меня, испытываю ли я ненависть к немцам.

Нет, не испытываю. В большей степени оттого, что не могу позволить себе ненависть, ибо она неизбежно вернется ко мне самой. Конечно, возлагать ответственность на тех, кто родился после 1930 года, за то, что их родители сделали со мной и моей семьей, я не вправе, но мне не по себе в присутствии немцев более старшего возраста, как будто они еще не смыли с рук кровь моих погибших товарищей.

Меня возмущают публикации книг бывших нацистов и то, что их становится все больше.

Меня возмущают те скудные выплаты, которые нынешний режим постановил своим жертвам. Их размер определяется в суде, где обвиняемый становится судьей, а бюрократическая волокита препятствует решению тысячи дел, словно они только и ждут, что жертвы умрут прежде, чем их требования будут выполнены. Хотя реституции Израилю свидетельствуют о желании загладить вину, никакие немецкие репарации никогда не смогут загладить материальный и моральный ущерб, нанесенный жертвам холокоста. Как бы я ни старалась, я не могу восхищаться благородством или даже порядочностью немцев, которые занимаются этим вопросом. Я чувствую к своим немецким ровесникам и предшествующему им поколению скорее безразличие с примесью жалости. Как немец-отец отвечает на вопросы своих детей? Может ли он сесть и честно рассказать, чем занимался во времена нацистов, и при этом не чувствовать, как горят его уши? Где были голоса интеллигенции, великих художников и гуманистов золотого периода немецкой культуры? Почему так трудно отыскать немца, который готов признаться, что состоял в нацистской партии или был членом СС? И неужели дьявольский план их вождей осуществлялся без помощи или хотя бы негласного одобрения большинства?

Суд над Адольфом Эйхманом, как и предшествовавший ему Нюрнбергский процесс, не принес удовлетворения или чувства отмщения – лишь горькое ощущение бессмысленности происходящего.

Меня совершенно не волнует, что творится в этой разделенной стране и ее семьях, члены которых оказались по разные стороны стены, и я отказываюсь лить крокодиловы слезы, оплакивая их трагические судьбы.

Я считаю величайшей иронией, что сегодня Западная Германия находится в лучшем экономическом положении, чем Англия, которая столько лет держала оборону в одиночку, как и то, что ФРГ, выступающая против коммунистического блока, обласкана со всех сторон.

Но все это сводится не к ненависти, а скорее к любопытству: существует ли эта новая Германия на самом деле? Сможет ли она удержаться от новой истерии и не «пойти за фюрером», если в условиях новой экономической катастрофы не возникнет очередной безумец, которому будет нужен козел отпущения?

Но, понимая природу человека, я боюсь того, что все это может повториться в любой точке мира, в иной форме и при иных обстоятельствах.

## От редактора

Работать над «Войной Фрэнси» было не просто. Мы с братьями считали, что первоначальный вариант был написан от руки, однако после смерти Фрэнси в 1989 году рукопись так и не была найдена. Текст с небольшим количеством исправлений напечатан на английском языке на тонкой полупрозрачной бумаге. У Фрэнси была феноменальная память и глаз художника, точно подмечавший детали. Но и ей нужна была помощь редактора.

Если бы издатели купили текст Фрэнси, пока она была жива, то у нее была бы возможность подправить ошибки. К примеру, кто-то сказал Фрэнси, что видел, как ее родителей застрелили в Риге. Но, согласно архивным материалам, их застрелили в выгребной яме лагеря Малый Тростенец, что в Белоруссии. Если бы Фрэнси была жива, издатель обсудил бы с ней название и предложил бы внести изменения в предисловие (например, в 1990 году Восточная и Западная Германия стали единой страной) и попросил бы объяснить некоторые моменты, касающиеся ее повествования. Но из-за смерти Фрэнси в возрасте 69 лет, а также того обстоятельства, что книга выходит в свет в 2020 году, это невозможно.

Первым встал вопрос об имени автора. Она подписала книгу как «Фрэнси Эпштейн». Мы с братьями решили, что в 2020-м она бы скорее назвалась Фрэнси Рабинек Эпштейн.

Поскольку предисловие мамы требовало большого количества исправлений, вместо того чтобы его переписывать и становиться соавтором, я решила процитировать отдельные части в «Послесловии». В сам текст я внесла очень мало исправлений, постаравшись придерживаться стандартной в таких случаях журналистской практики.

Проверить даты было не сложно, но вот когда имена или даты были указаны неверно или попросту выдуманы, было невозможно проникнуть в ее намерения. Такие места я отмечала звездочкой. К примеру, Нойграбен она называет «Бухвальд». Но никакого Бухвальда не было и в помине, и я не понимаю, зачем она указывает это название.

В 1990 году молодая немецкая исследовательница, живущая в пригороде Гамбурга, где в лагере Нойграбен держали Фрэнси, разыскала меня через архивы Израиля и передала документы, раскрывающие личность «Шписса». Так в тексте я заменила «Бухвальд» на Нойграбен.

Еще одна странная отсылка касается уже другого имени. Фрэнси называет женщину-командира, которая осматривает чешских евреек перед отправкой из Освенцима в Нойграбен «Ильза Кох». Я уверена, что мама знала, что это была не Ильза Кох (также известная как «Бухенвальдская сука»). Фрэнси могла использовать ее имя нарочно, а могла просто перепутать с Иrmой Грезе, другой садисткой, но уже из Освенцима. Я заменила ее имя на *Kommandant*.

За последние 60 лет вторая страница «Войны Фрэнси» потерялась. Из-за этого пробела я сократила семейную историю Рабинек.

Машинописный текст исправлен либо рукой Фрэнси, либо поверх него были напечатаны буквы ХХХ. И тем не менее в нем встречались грамматические ошибки, пропущенные слова, опечатки, орфографические ошибки («Освецим» вместо «Освенцим», «Штурмбанфюрер» вместо «Штурмбаннфюрер»), слишком длинные, перегруженные предложения и большие абзацы. Повествование не было поделено на главы, а пунктуация оставляла желать лучшего. Я внесла исправления и разбила текст на главы.

Еще одной редакторской проблемой стал стиль Фрэнси передавать на письме важные разговоры или письма. Некоторые из них она заключала в кавычки, в каких-то отсутствовали знаки препинания, а в случае с итальянским военнопленным Бруно она вообще процитировала текст письма по-итальянски! Разумеется, эти отрывки не подлежали никаким журналистским или научным проверкам. Но я решила оставить их без изменений.

Также было непросто выяснить скрытые за псевдонимами настоящие имена женщин, особенно тех, кто состоял друг с другом в интимной связи. В записанном аудиointервью 1974 года, которое теперь хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке, и в видеосвидетельстве от 1985 года, которое Фрэнси записала для Фортуновского архива Йельского университета, она называет имена некоторых из них. Для читателей и ученых, которым будет это интересно, я указала самые очевидные из них.

И напоследок несколько слов о фотографиях. Нам с братьями повезло, что у нас есть довоенные семейные фотографии. У многих жертв холокоста их нет. За их сохранность нужно поблагодарить клиентов ателье «Вайгер», некогда принадлежавшему маме и бабушке. После «Бархатной революции» 1989 года, которую Фрэнси не успела увидеть, я смогла получить дополнительные фотографии и документы в Еврейском музее, Музее декоративно-прикладного искусства в Праге и Мемориале Терезин. Поскольку в 1945 году Фрэнси и Китти работали переводчицами в Британской армии, у Фрэнси были несколько фотографий, сделанных британскими солдатами тем летом. Ее двоюродный брат Петер Скот сохранил ее телеграмму от 1945 года, а также послевоенные письма и передал их мне в 2015 году.

*Хелен Эпштейн  
Лексингтон, Массачусетс  
12 августа 2019*

## О лагерях

**Терезин** — бывший военный гарнизон в шестидесяти километрах к северо-западу от Праги, переименованный нацистами в Терезиенштадт, который ноябре 1941 года выполнял роль сборного пункта, транзитного лагеря и гетто. Всего в Терезин было сослано около 148 000 евреев, в большей степени из Богемии, Моравии и Германии, а также из Австрии, Нидерландов, Словакии, Венгрии и Дании. Большинство из них тут же отправляли дальше, в лагерь смерти. Более 33 000 человек умерло в самом Терезине от болезней или недоедания. В числе его узников были выдающиеся европейские художники, артисты, философы, раввины, писатели и педагоги еврейского происхождения.

Терезиенштадт находился под контролем СС, охранялся чешскими жандармами, а управление осуществляли сами евреи, вынужденные проводить нацистскую политику. Нацистская пропаганда преподносила Терезин как «образцовое гетто», в котором его обитатели ведут бурную культурную жизнь. 23 июля 1944 года, после того как немцы сделали вид, что обустроят лагерь и улучшают условия пребывания узников, в него прибыла комиссия Красного Креста. Она купилась на уловку, а ее отчеты способствовали дискредитации точных данных о нацистских концлагерях. Терезиенштадт был освобожден Красной Армией в мае 1945 года.

**Семейный (или Терезиенштадтский) лагерь** был частью лагеря Аушвиц-Биркенау. 6 сентября 1943 года 5007 евреев прибыли туда из Терезиенштадта. После того как заключенным сделали татуировки, их зарегистрировали, но не обрили и посадили за колючую проволоку, по которой был пущен электрический ток. У них не стали забирать одежду и детей, которых поместили в детский барак. В их документах стояла пометка «особый режим» или «полгода». Смертность там была ниже, чем в других лагерях Освенцима, и, как и в Терезине, детей кормили чуть лучше, а учителя проводили для них занятия. Через полгода, в сентябре, всех, кто остался в живых, убили. Они вошли в газовые камеры, распевая гимн Чехословакии (*Kde domov můj?* («Где дом мой?»)), «Атикву»<sup>76</sup> и «Интернационал».

---

<sup>76</sup> Еврейская песня 19-го века, в настоящий момент – гимн Израиля.

## Хронология событий

**28 октября 1918-го** – образование Первой Чехословацкой республики, последовавшее за развалом Австро-Венгерской империи.

**11 ноября 1918-го** – подписание перемирия с Германией, завершение военных действий.

**26 февраля 1920-го** – в Праге у Йозефы и Эмиля Рабинек рождается Фрэнси.

**30 января 1933-го** – Гитлер назначен на пост рейхсканцлера Германии. Создаются первые концентрационные лагеря.

**12 марта 1938-го** – аншлюс Австрии.

**30 сентября 1938-го** – Мюнхенское соглашение позволяет Гитлеру произвести аннексию Судетской области (западной территории Чехословакии).

**15 марта 1939-го** – Гитлер вторгается в Чехию, аннексирует Богемию и Моравию. Константин фон Нейрат назначен на должность рейхспротектора. Он незамедлительно упраздняет чешские политические партии и профсоюзы, а также вводит для евреев Нюрнбергские расовые законы.

**Июль 1939-го** – гестапо арестовывает семью Рабинек. Они проводят в тюрьме Панкрац две недели.

**1 сентября 1939-го** – Германия вторгается в Польшу. Начинается Вторая мировая война.

**Апрель – июнь 1940-го** – Германия вторгается в Данию, Голландию, Бельгию и Францию.

**Июнь 1941-го** – Германия вторгается в Советский Союз.

**Июль 1941-го** – всех чешских евреев обязывают носить желтые звезды.

**Сентябрь 1941-го** – Гитлер заменяет фон Нейрата Рейнхардом Гейдрихом.

**Октябрь 1941-го** – первая депортация чешских евреев в Лодзь.

**Декабрь 1941-го** – первая депортация чешских евреев-мужчин, которые перестраивают военный гарнизон Терезин в концентрационный лагерь.

**27 мая 1942-го** – операция «Антропоид»: бойцы чешского и словацкого Сопротивления убивают Гейдриха.

**10 июня 1942-го** – в ответ на убийство Гейдриха Гитлер начинает репрессии. Под ударом оказываются жители двух деревень: Лидице и Лежаки. Были убиты 1300 мирных жителей, в их числе и 200 женщин.

**Август 1942-го** – Джо Солар отправлен в Терезин, где строит железную дорогу, которая свяжет лагерь и станцию Богушовице.

**Сентябрь 1942-го** – семью Рабинек депортируют в Терезин. Фрэнси остается в лагере, а ее родителей отправляют в Малый Тростенец, ныне Беларусь, где они будут убиты.

**6 сентября 1943-го** – 5007 евреев депортированы в Аушвиц II-Биркенау. Как только узникам сделали татуировки, их поместили в «семейный лагерь».

**Декабрь 1943-го** – Китти депортируют в «семейный лагерь» Аушвиц – Биркенау.

**Март 1944-го** – Джо Солар арестован и отправлен в «Малую крепость», служившую в Терезине тюрьмой гестапо.

**10 марта 1944-го** – 5000 заключенных «семейного лагеря» отравлены газом (это самое массовое убийство граждан Чехословакии за всю Вторую мировую войну).

**Май 1944-го** – Фрэнси Солар депортируют в Аушвиц-Биркенау.

**14–16 июля 1944-го** – Фрэнси, Китти и группа из 500 женщин, преимущественно из Чехии, депортированы в Гамбург в Дессауэр Уфер, где они работают на нефтеперерабатывающих заводах.

**20 июля 1944-го** – неудачная попытка покушения на Гитлера.

**Октябрь 1944-го** – группу Фрэнси перевозят в Нойграбен, где она работает электриком.

**27 января 1945-го** – Освенцим освобожден Красной Армией.

**3 февраля 1945-го** – массированная бомбардировка Берлина ВВС США.

**8 февраля 1945-го** – группу Фрэнси перевозят в Тифстак.

**13–15 февраля 1945-го** – бомбардировка Дрездена авиацией Великобритании и США.

**5 апреля 1945-го** – группу Фрэнси отправляют в Берген-Бельзен.

**15 апреля 1945-го** – Британская армия освобождает Берген-Бельзен. Фрэнси и Китти едут в Целле.

**5 мая 1945-го** – «Пражское восстание».

**8 мая 1945-го** – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.

**Август 1945-го** – Фрэнси и Китти возвращаются из Целле в Прагу.

## Иллюстрации



Фрэнси на прогулке в парке со своей мамой Пеппи. 1922 год



Фрэнси и ее брат Петер. Оба рождены в 1920 году



Фрэнси и ее первая большая любовь Лео Оппенгеймер – немецко-еврейский беженец, архитектор, приехавший в Прагу из Дрездена



Будучи подростком Фрэнси изучала фэшн иллюстрирование. Здесь она позирует для рекламного фотографа



Свадьба Фрэнси и Джо Солара в 1940 году



Джо с щенком Томми, которого он купил для Фрэнси



Фрэнси и Китти после освобождения. С ними британский солдат



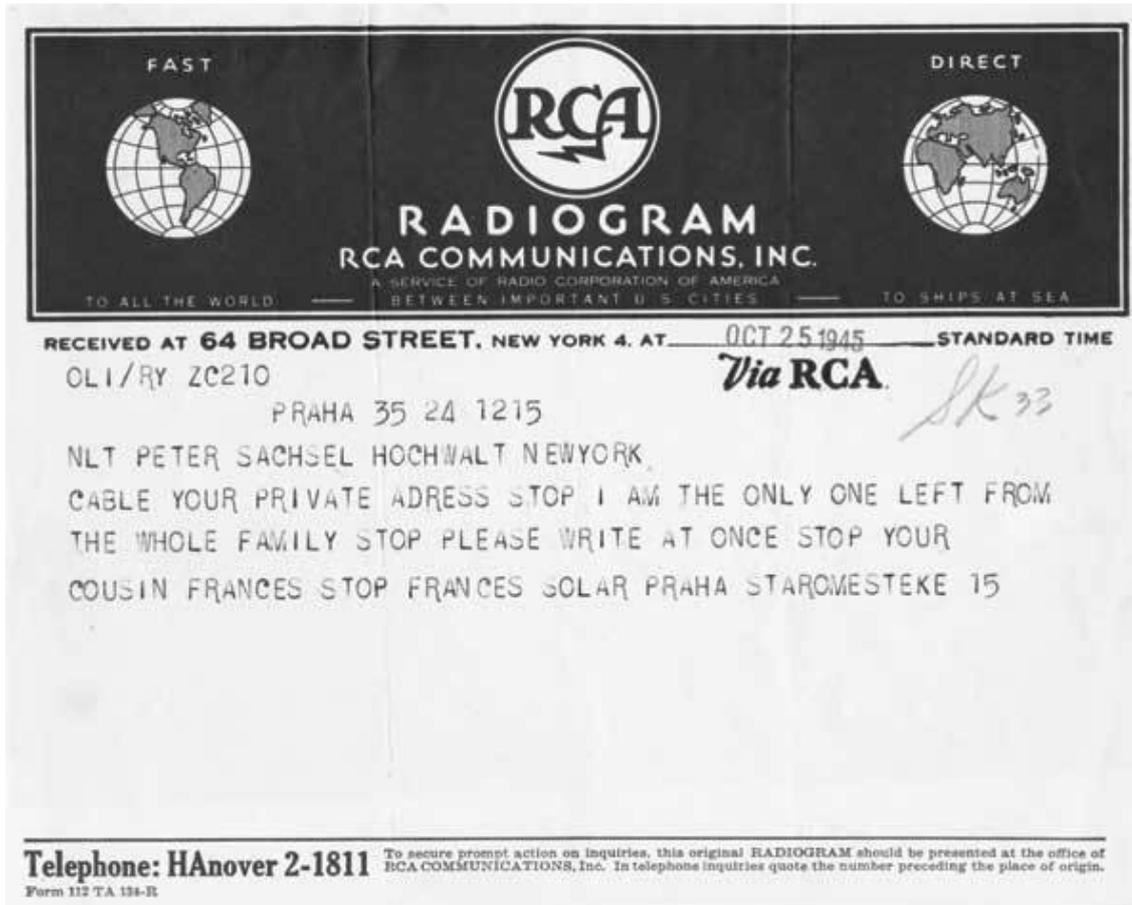
Полковник Маргарет Эммелин Монтгомери, офицер Британского Красного Креста, с которой Фрэнси и Китти подружились



Полковник Монтгомери



Фрэнси и Китти в Целле, Германия. Лето 1945 года



Та самая телеграмма, отправленная Петеру после освобождения



Свадьба с Куртом Эпштейном. 1946 год

2

OSOBNÍ POPIS - SIGNALEMENT  
ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ - DESCRIPTION

Zaměstnanost Profession Ванитце Occupation	<i>vidělec, supl. uč.</i>	X ženatá - femme Жена - wife матримониал au mariage
Podpis a datum narození Lieu et date de naissance Место и время рождения Place and date of birth	<i>Podpis: M. F. Kuchal</i>	<i>28. I. 1920</i>
Občid Výsava Dleto Face	<i>obč. - česk.</i>	<i>obč. - česk.</i>
Barva očí Couleur des yeux Глаза	<i>tm. modrá</i>	<i>tm. modrá</i>
Barva vlasů Couleur des cheveux Цвет волос	<i>tm. hnědá</i>	<i>tm. hnědá</i>
Barva kůže Couleur des bras Цвет кожи	<i>tm. hnědá</i>	<i>tm. hnědá</i>
Zvláštní znamení Signes particuliers Особые признаки Special marks		

3

Podpis majitele — Photographie du titulaire  
Подпись владельца — Photograph of holder



Podpis manželky  
Signature de sa femme  
Подпись жены  
Signature of his wife

*Franciše Epštejn*



Podpis majitele  
Signature du titulaire  
Подпись владельца  
Signature of holder

*Miroslav Epštejn*

DETI - ENFANTS - ДЕТИ - CHILDREN

Jméno Nom - Имя Name	Věk Age Возраст Age	Pohlaví Sex - Пол Sex
<i>Milana</i>	<i>27. II. 1947</i>	<i>kl. - f.</i>

1

Podpis držitele  
Signature officiellement d. *M. F. Kuchal*

Паспорт Курта. 1948 год



Последняя фотография матери Фрэнси



Марго Корбель, эмигрировавшая в Израиль после войны. Они вместе пребывали в Терезиенштадте



Лагерь, с которого началась нелегкая доля Фрэнси